



ТИШЬ

Summer Bjorn

Summer Bjorn

Тишь

Серия «Моё имя», книга 1

<https://litres.ru/74300783>

SelfPub; 2026

Аннотация

Жених обещал юной невесте чудовищ — и слова своего не нарушит. Он покажет ей всех. Даже тех, кого она увидеть не рассчитывала.

Айлин Рейнмар молода, и мир ей улыбается: старинный род, выгодная помолвка, обходительный жених — и редкий дар, которым она тихо гордится. Она рисует ласточек, любит трудные задачки и едет за чудесами без страха — ведь с ней жених, с ней отец, с ней оружные люди. В самое страшное место на свете — под самой крепкой охраной, о какой можно только мечтать.

Их путь лежит к сердцу Тиши: раны в теле мира, где воздух густеет и лжёт, где вода стоит чёрной и помнит, кем была, и где цел остаётся лишь тот, кто крепко-накрепко помнит, как его зовут. Тишь полна чудовищ — и некоторые чудовища приходят в неё снаружи.

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	19
Глава 3	32
Глава 4	45
Глава 5	62
Глава 6	80
Глава 7	96

Summer Bjorn

Тишь

Глава 1

Гость приезжает к полудню, и с самого утра весь дом делает вид, что это обычный день.

Обычный день — это когда в передней трижды меняют цветы и никто не говорит, для кого. Когда кухне велено жаркое из молодого барашка и белый хлеб, которого по будням на наш стол не подают. Когда полы натирают до того зеркального блеска, в каком отражаешься вниз головой, и служанки ходят на цыпочках, будто дом спит и его нельзя будить. Словом, самый обычный день. Обычнее у нас ещё не бывало.

Меня будят рано и ведут в купальню. Воду носят вёдрами, от неё поднимается пар и запах лаванды; две девушки трут меня жёсткой рукавицей, пока кожа не начинает розоветь и поскрипывать, а после трут ещё, для верности, — будто с меня сходит что-то, чего гостю видеть не след. Меня моют так же как утром натирали полы: чтоб блестела.

Я сижу тихо и смотрю, как капля набухает на запотевшем серебре кувшина, — знаю, что сейчас сорвётся, и она срысается и бежит вниз. Я всегда знаю, что будет дальше: с каплей, с лошадью, с человеком. По тому, как вошедший ставит

ногу, скажу, устал он или лжёт; по тому, как повёл рукой, — чего хочет, ещё прежде, чем откроет рот. Не знаю, зачем мне это; знаю только, что показывать этого давно не велено. Невесте нельзя показывать больше, чем дозволено.

— Не сутулься в воде, — говорит нянька. — Спину испортишь, а спину под венец не переделаешь.

Спину. Будто я лошадь, у которой смотрят стать.

#

Меня одевают в голубое: при этом цвете я кажусь мягче, чем есть на самом деле. Горничная затягивает шнуровку, и я держусь ровно, будто в тугом платье мне так же вольно, как в ночной сорочке. Сколько себя помню, меня учат носить корсет так, чтоб по лицу не было видно тугости корсета. Кажется, это и называют хорошим воспитанием: чтоб трудное давалось незаметно.

Наша передняя высока — в три человеческих роста, где по вечерам не достаёт свет свечей, — и лестница у площадки расходится надвое, как приглашение подняться туда, куда меня не зовут. По стенам висят Рейнмары в потемневших рамах: прадеды, деды, дядьки, иногда с супругами, и все с одним и тем же лицом, будто им всем однажды сказали смотреть так — и они послушались навсегда. Высокие окна глядят в сад. Там садовник срезает отцветшие розы под самый корень, чтобы к будущему году они пошли гуще.

— Не хмурься, — говорит матушка, поправляя мне выбившийся локон. Лицо у неё простое и доброе, как у женщины, которой всю жизнь нечего было прятать. — И держи глаза скромно. Мужчине не нравится, когда невеста смотрит прямо.

Я опускаю глаза как велено. Это, впрочем, не такая уж жертва: скромно опущенный взгляд превосходно видит чужие башмаки, а по башмакам о госте узнаёшь куда больше, чем по лицу. Лицо всякий держать умеет. Башмаки — не каждый.

— Айлин дозреет к осени в самый раз, — говорит вошедший отец, не мне, а куда-то поверх моей головы, матушке. — Ждать дольше нет резона.

Дозреет. Я стою смирно и думаю про себя, что я всё же не репа и не яблоня в отцовском саду, чтобы меня снимали в срок, — но думаю это ровно, за глазами, туда, куда велено прятать всё, что за ними. Вслух хорошая дочь на «дозреет» не отвечает ничего. Я хорошая дочь. Я просто держу это при себе, как держат тепло под плащом.

— Айлин! — Мейлин влетает в переднюю, младшая, тринадцати лет, вся состоящая из курносости и любопытства, и няньки за ней не поспевают. Она обходит меня кругом, как обходят наряженную ёлку, и глаза у неё горят. — Ты как из книжки. Он тебя такой увидит и всё, пропал.

— Пропал, — соглашаюсь я и поправляю ей сбившуюся ленту, потому что за собой она не следит, а матушке некогда.

От Мейлин пахнет вареньем и улицей — тем, чем и должно пахнуть в тринадцать, когда о своём женихе ещё только мечтаешь.

— А тебе будет позволено с ним гулять? Одной? — шепчет она, и в шёпоте — целый мир, который она себе навображала: балконы, письма, суженый на белом коне. — Расскажешь потом?

— Расскажу, — говорю я и не говорю, что рассказывать, скорее всего, будет нечего: гость приедет, посмотрит, уедет, а решат всё без нас, за плотной дверью. Ей тринадцать, и она ждёт своего жениха, как ждут праздника. Я не говорю ей, что к празднику прилагается торг за плотной дверью; про это она узнает в свой срок, а пугать раньше времени незачем.

За окном на подъездную аллею въезжает карета — вороные, чёрный лак, кучер в тёмном. Дом на миг замирает, как замирает капля перед тем, как сорваться.

— Приехал, — говорит матушка, и в её простом добром лице что-то на один удар делается острым, а потом снова добрым.

###

Тайвел Стеррен входит вместе с полосой полуденного света, и передняя от него будто и правда светлеет — не знаю уж, дом ли виноват или то, как он держится.

Он целует матушке руку и говорит, что у нас всегда буд-

то теплее, чем на дворе, — и матушка розовеет так славно, будто впервые это слышит. Я тоже так умею. Нас обеих учили одному, и я, глядя на неё, в который раз думаю: кто же учил её и когда.

Меня подводят. Я приседаю и поднимаю глаза ровно настолько, насколько дозволено, — а он чуть наклоняет голову, ловя мой взгляд снизу, будто ему важно, чтобы я всё-таки на него посмотрела, а не на его пуговицы.

— Айлин, — говорит он, и выговаривает моё имя так, словно оно ему по вкусу. — С прошлой весны вы стали совсем другая.

— Надеюсь, к лучшему, — отвечаю я скромно и приятно, как и полагается.

Женихи, я заметила, все говорят невесте одно и то же и с одинаково значительным видом, будто каждый сам это только что сочинил. «Вы стали другая», «вы расцвели», «время к вам милостиво» — как если бы им всем раздали одну карточку и велели заучить. Тайвел, надо отдать ему должное, произносит свою карточку так, словно и правда рад. Может, у него карточка лучше. А может, он лучше читает.

— Вы стали взрослее и краше, — говорит он и улыбается, и у глаз собираются морщинки, и это выходит у него не как заготовленная любезность, а как если бы он и правда так подумал и не сумел удержать.

Отец кашляет — коротко, так он собирает мужчин к делу, — и Тайвел выпрямляется, и лицо его на глазах меняет по-

году: тепло убирается, как убирают со стола перед работой, и остаётся ровная деловая приветливость.

— Рейнмар, — говорит он отцу. — Ну что, закончим наш давний спор?

— Закончим, — отвечает отец тем же голосом, каким говорит о поставках зерна и починке крыши. — В кабинете.

Они уходят, и дверь кабинета затворяется за ними — тяжёлая, ореховая, на две ладони толщиной. Я знаю эту дверь. За ней можно кричать, и в передней услышишь только, что кто-то как будто кричал. Дом наш строили люди, понимавшие, что богатство держится на том, чего не слышно за стеной. Бедные дома — те, где всё слышать. Мы не бедный дом.

###

Я остаюсь с матушкой и пяльцами.

Стежок, стежок. За ореховой дверью — глухо; изредка проступит гул, ровный, мужской, тот, что в нашем доме означает деньги, — и снова тишина. Слов не разобрать, и разбить нельзя: невеста, что подслушивает у отцовской двери и не лезет в дела мужа, — это изъян, а изъянов во мне быть не должно.

Тайвел приезжает не впервые. Он приезжал по весне и ещё раньше, и всякий раз они с отцом запирались и «заканчивали давний спор», и всякий раз спор оказывался не закончен. Я не знаю, о чём в нём спорят так долго. Что-то

не сходилось у них — какая-то цифра, какое-то условие, — и они расходились, довольные тем, что не уступили, чтобы съехаться снова. Мужские споры, я заметила, тем и хороши: их можно заканчивать годами.

Сегодня в доме мыли полы до отражения. Сегодня жаркое и белый хлеб. Сегодня меня терли, пока не закрипело. Дом так наряжаются не для спора, который опять не закончат.

Я вдеваю новую нитку и слежу, как матушкина игла ходит напротив — ровно, привычно, и вдруг чуть скорее. По лицу её не прочесть ничего; по игле — прочесть. Лицо у неё простое, доброе, пустое. Я смотрю на её иглу и на миг забываю держать своё лицо, и мы встречаемся глазами.

И в матушкиных — простых, добрых, ничего не прячущих — на один стежок кто-то есть. Кто-то, кто тоже слушает глухую дверь и читает её не хуже меня. Потом она моргает, и там снова только усталая добрая женщина, которой велено не пускать дочь дальше пялец.

— Ровнее клади, — говорит она тихо. — У тебя стежок повело.

Я распускаю и кладу ровнее. Ровному стежку я обучена хорошо — чему-чему, а этому точно.

#

Дверь кабинета открывается около трёх.

Первым выходит Тайвел, и по нему сразу всё видно: он

доволен. Не улыбается — довольство у него не на губах, а в развороте плеч, в том, как он не спешит и не медлит, как человек, у которого всё вышло по его. Так выходят из-за стола, за которым выиграли, и умеют не показывать выигрыша, чтоб не навлечь беду.

За ним — отец. По отцу не видно ничего. По отцу никогда ничего не видно; лицо у него как наша ореховая дверь — толстое, ровное, за ним можно кричать, и не услышишь. Он протягивает Тайвелу руку, и они бьют по рукам — коротко, крепко, как бьют, когда сговорено окончательно и переторговывать больше нечего.

— По рукам, — говорит отец.

— По рукам, — говорит Тайвел.

И это всё, что я слышу из их давнего спора: два слова на выходе да рукопожатие. Начало и конец, а середину съела ореховая дверь. Оба выходят с таким видом, будто уступили из чистого великодушия, — точь-в-точь два кота, что разошлись в узком месте, и каждый уверен, что это он посторонился первым. Кто кого переторговал, по их лицам не прочтёшь; в этом доме лица держать умеют оба. Я не знаю, что они сторговали. Я знаю только, что сторговали, — и что дом с утра готовился именно к этому, и что матушка отчего-то не поднимает глаз от вышивки, хотя всё уже решилось и можно бы выдохнуть.

Отец смотрит на меня — коротко, оценивающе, как смотрят на выставленное перед сделкой и уже проданное. Потом

кивает Тайвелу, будто передавая что-то из рук в руки, и уходит к себе, непроницаемый, как вошёл.

Тайвел же оборачивается ко мне, и погода на его лице снова меняется — деловое убирается, тепло возвращается, и морщинки у глаз тоже.

— Айлин, — говорит он. — День слишком хорош, чтобы просидеть его в четырёх стенах. Ваша матушка позволит нам пройти по саду?

Матушка позволяет — конечно, позволяет; жениху, с которым только что ударили по рукам, отказывают в прогулке по саду разве что в наказание. Она только велит Мейлин сбегать за моей шалью и глядит нам вслед тем добрым усталым взглядом, который иногда заостряется.

Мейлин приносит шаль бегом, растрёпанная, и, сунув её мне, во все глаза разглядывает гостя. Тайвел благодарит её кивком — и на миг задерживает на ней взгляд, спокойный и внимательный, тот самый, каким давеча, войдя, оглядел нашу переднюю.

— Дом Рейнмаров богат красавицами, — говорит он матушке с лёгким поклоном. — И, вижу, не на одну весну вперёд.

Матушка принимает любезность улыбкой. Я решаю, что будущий зять щедр на доброе слово всему дому, и мне это в нём нравится.

В саду пахнет нагретой землёй и последними розами.

Их ещё не все срезали; те, что у беседки, стоят распущенные до отказа, тяжёлые, — такие доцветают за день-два, и оттого пахнут особенно сильно, будто торопятся. Нам накрыли чай в беседке: чайник под стёганным колпаком, две чашки тонкого фарфора, мёд, поздние сливы. Присмотр за нами, как всегда: где-то в доме, за высоким окном второго этажа, кто-то приставлен глядеть, чтоб мы вели себя, как жениху с невестой положено, — то есть чинно, на виду, ничего лишнего.

Тайвел разливает чай сам, хотя мог бы кликнуть служанку, и подаёт мне чашку, и садится не напротив, как полагалось бы, а чуть наискось, чуть ближе, чем положено.

— Признаюсь честно, — говорит он вполголоса, будто поверяет тайну. — Я весь ваш чай терпеть не могу. У вас его заваривают так, что им впору дубить кожу.

Я едва не давлюсь этим самым дубильным чаем. Со мной так не говорят. Со мной говорят про погоду, про здоровье сестёр, про то, к лицу ли мне голубое, — и всё это можно слушать вполуха. А он взял и сказал вслух ту правду, которую здесь все пьют молча из вежливости, — сказал тихо, только мне, будто мы с ним одни её и заметили.

— Тогда зачем пьёте? — спрашиваю я и слышу, что голос

у меня выходит живее дозволенного. В голове у меня подобные дерзости водятся с утра до ночи, но там они и живут, за воспитанием, как за оградой. Вслух и при гостях — невиданная вольность. И небо, несмотря на обещания нянюшки, не падает.

— Чтобы иметь причину сидеть тут с вами, — говорит он просто. — За ваше внимание прощается многое. Даже дурной чай.

Наверху, за высоким окном, дёргается занавеска.

Я это замечаю — само собой замечаю, как замечаю всё: чуть колыхнулась ткань, будто кто-то за ней подался вперёд и тут же отпрянул. Раз. Кто-то там решил, что мы сидим слишком близко, и заволновался.

И вот что странно: Тайвел тоже глядит туда — коротко, краем глаза, — и, поймав мой взгляд на той же занавеске, улыбается мне так, будто мы оба поймали одного и того же соглядатая с поличным. Будто это наша с ним общая шалость, а не чужой надзор. И я, вместо того чтоб отсесть, как велено приличной девице, — остаюсь сидеть, где сижу.

###

Дальше время идёт не так, как всегда.

Обычно я чувствую время всей кожей — сколько ещё держать лицо, сколько до конца обеда, до конца визита, до конца дня. В беседке я про это забываю. Тайвел рассказывает —

про дальние города, где крыши бедняков кроют не соломой, а цветной черепицей; про торговку в порту, что продала ему «удачу» в мешочке, а в мешочке оказался сушёный жук; про то, как однажды заснул в седле и проснулся оттого, что конь прибил к дикому табуну. Он рассказывает смешно — не так, чтоб я обязана была смеяться, а так, что смеяться действительно хочется.

И я смеюсь.

Не одними губами, как учили, а по-настоящему — коротко, вырвавшись, прежде чем успеваю поймать. Смех у меня выходит незнакомый; я его будто впервые слышу. И — вот оно, странное — мне не делается стыдно. Тайвел смотрит на меня, засмеявшуюся, так, словно я сделала что-то замечательное, и мне хочется сделать это ещё.

— У вас, оказывается, есть настоящая улыбка, — говорит он тихо. — А я думал, вас учили обходиться без неё.

— Учили, — говорю я. — Я прячу её в приданое. К свадьбе, может, достану.

Он хохочет — громко, запрокинув голову, и наверху опять дёргается занавеска. Мы оба слышим и оба не подаём виду, только он, отсмеявшись, наклоняется чуть ближе и говорит совсем тихо, одними уголками губ:

— Достаньте раньше. Мне она нравится. Свадьба подождёт, а ваша улыбка — нет.

И срывает мне розу — ту, что у беседки, тяжёлую, доцветающую, — срывает не церемонно, а быстро, оцарапавшись о

шип, и подаёт, посасывая уколотый палец, и это выходит так по-мальчишески и так не по-жениховому, что во мне что-то отпускает совсем.

Меня учили не хотеть самой. Хотеть — не невестино дело; невестино дело — быть желанной и достаться в срок. Сколько себя помню, меня отучали хотеть так же прилежно, как отучали думать глазами. И вот впервые в жизни мне будто позволили — не вслух, никто не позволял вслух, — но рядом с ним запрет вдруг делается тонким, как та занавеска наверху, за которой кто-то дышит. И за этим тонким я вижу, чего хочу.

Я хочу быть рядом с ним. Хочу, чтоб этот день не кончался. Хочу быть той, у кого есть смех и кому за это не влетит. Я держу его розу и его взгляд и понимаю, что тону, — и, кажется, не хочу выплывать.

###

— Айлин, — говорит он, и что-то в голосе меняется: тепло остаётся, но под тепло подкладывается вес, будто он подходит к тому, ради чего и завёл всё это. — Я скажу вам одну вещь, а вы не пугайтесь, что я её знаю.

— Смотря какую вещь, — говорю я, ещё смеясь, ещё лёгкая.

— Вы любите смотреть на живое, — говорит он. — Не так, как барышни смотрят на комнатных собачек, а с чистым

интересом исследователя. Я заметил ещё по весне: в саду вашего дядюшки, пока все хвалили павлинов, вы глядели, как кошка подбирается к голубю. Глядели так, что я забыл про павлинов и стал глядеть на вас.

Я молчу. Мне делается жарко и странно — так бывает, когда тебя увидели там, где ты пряталась. Никто не знает, что я смотрю на зверьё. Это моё, тайное; меня за это бранили в детстве — «неприлично, отвернись», — и я научилась смотреть незаметно, краем, как научилась всему незаметному. А он заметил. Он ухаживал не за голубым платьем и не за отцовым именем. Он смотрел на меня, пока я смотрела на кошку.

— И вот что я надумал, — говорит Тайвел, и глаза у него горят тем же, чем у Мейлин горели в передней, только взрослым. — Осенью я иду в Тишь. Со своими людьми, за делом — тем самым, что кормит наш род и даст кров вам. Там водятся твари, каких вы не видели и вообразить не можете. И я договорился с вашим отцом. — Он делает крохотную паузу, будто сам не верит своей смелости. — Я беру вас с собой. Покажу вам настоящих чудовищ, Айлин. И покажу, чем именно ваш будущий муж добывает свою славу и своё богатство. Ни одну девицу туда не берут. Вас — возьму.

Наверху, в третий раз, дёргается занавеска — резко, будто там наконец собрались спуститься и прекратить всё это неприличие.

Три. По третьему разу я всегда знаю наперёд: сейчас от-

кроется дверь, сейчас пришлют за мной. Так же знаю, куда метнётся кошка, когда сорвётся капля.

А сейчас — впервые — не хочу знать наперёд. Впервые не гляжу дальше этой беседки, этой розы, его лица. Во мне всё поёт.

Меня — в Тишь. Меня, которой нельзя смотреть прямо, нельзя хотеть, нельзя дальше пялец. Меня — туда, куда не берут женщин, туда, где живое и мертвое переплетены, — и берёт тот, кто разглядел во мне ту, что глядит на кошку, а не ту, что созревает к осени. Мне впервые в жизни дают не платье, не жениха, не место за чьим-то столом — мне дают увидеть. И даёт это он.

— Да, — говорю я, и на этот раз в моём «да» нет ни капли выученного. — Да. Возьмите.

Тайвел улыбается — тепло, довольно, морщинками у глаз, — и это то самое довольство, с каким он вышел давеча из отцовского кабинета, только теперь оно обращено на меня, и я не умею его прочесть, потому что не хочу читать. Я хочу просто держать его розу и его обещание и быть — как никогда — счастливой.

Наверху опускается занавеска.

Я думаю, что я самая везучая девица во всей Вельдарии.

Глава 2

Однажды дом уже наряжали для одного мужчины. Нынче — для дюжины дам, и это совсем другая наука.

Мужчине показывают, что невеста хороша, а торг честен. Дамам показывают, что всё уже случилось, случилось по-нашему, и завидовать поздно. Оттого серебро достают не самое дорогое, а самое заметное; оттого меня одевают не в голубое, в котором я мягче, чем есть, а в тёмно-зелёное, в котором я не девочка, которую сватают, а невеста, которой всё удалось.

Матушка оглядывает меня и поправляет ворот — не потому, что криво, а потому, что руки у неё сегодня не находят покоя.

— Не хвались, — говорит она. — И не оправдывайся. Держись так, будто удача — дело будничное, и тебя ею не удивишь.

Я запоминаю. У матушки простое доброе лицо, за которым, я знаю, всегда что-то есть, — и теперь она собрана, как перед схваткой.

###

Дамы съезжаются к полудню, и дом наполняется тем особым гулом, какой бывает только там, где сошлись женщины,

которым нельзя сказать вслух и половины того, что они думают. Оттого говорят вдвое больше — обо всём остальном.

Их зовут между собой гусынями — не в лицо, разумеется. Гусыни ходят стайкой, гогочут складно, а если ущипнут, то так, что после не докажешь. Каждая привозит своё рукоделие, и это часть уговора: дама, приехавшая посплетничать, — праздная, а дама, приехавшая с пяльцами, — при деле. Оттого все при пяльцах, и все сплетничают, и все делают вид, что одно другому не мешает. За целый день ни одна не положит и дюжины стежков, но пяльцы перед собой держат осанисто, как воины держат щит.

Я узнаю их по походке раньше, чем по лицам. Походка врёт реже.

Госпожа Сельвира входит первой и сразу ищет глазами, где сесть так, чтобы видеть дверь: ей важно не пропустить, кто с кем приехал. За ней — дочь, Аделия, в платье на полтона светлее того голубого, которого от меня ждали, — и я понимаю без слов, что платье шили, зная про моё, и не угадали: я сегодня в зелёном. Аделия улыбается мне так старательно, что я почти её жалею.

Госпожа Ормунда является последней, как является всякий, кто хочет, чтобы его заметили. Она стара, тяжела и медлительна той медлительностью, что заставляет комнату себя подождать. Целует матушку в обе щеки, меня оглядывает с головы до ног — не любуясь, а прицениваясь, как приценивается покупатель, которому вещь не по карману, но обру-

гать её приятно.

— Вот она какая стала, — роняет Ормунда. — А была совсем цыплёнок.

— Выросла, — соглашается матушка ровно.

#

Пьют чай. Разбирают мои рисунки — их выложили на длинном столе, будто и вправду затем, чтобы любоваться. Дамы любят. Хвалят птицу, хвалят сад, хвалят, как у меня «ложится тень». Хвалят громко и чуть мимо меня — как хвалят чужого ребёнка, когда мать рядом. Ни одна не знает, что тень я кладу не для красоты, а чтобы держать в голове объём, — и что матушка учит меня рисовать вовсе не ради птиц. Им видно миленькое. Мне за миленьким видно другое, и это другое я держу при себе, как держат монету за щекой.

Дольше прочих над листьями стоит госпожа Крелла.

— А меня бы ты смогла? — спрашивает она вполголоса, отведя меня к окну. — Как живу. А то на всех портретах я выхожу как чья-то тётка.

Я усаживаю её тут же, у света, пока старшие заняты чаем. Рисую быстро, угольком, в четверть листа. Лицо у Креллы удобное, гостевое, всюду своё — и первые минуты она держит его, как держат при хозяевах. Потом устаёт — и появляется она сама: взгляд, который знает наизусть чужие окна, считает своими чужие сады — и знает, что чужие.

Крелла смотрит на лист долго. Дольше, чем смотрят на удачный портрет.

— Я тут будто... — она ищет слово и не находит такого, которое говорят при гостях.

— Живая, — подсказываю я.

Она складывает лист вчетверо и прячет за корсаж — не в ридикюль, куда всякий заглянет, а за корсаж. И до самого вечера держится со мной так, будто мы вдвоём что-то украли.

Наверное, так и есть: я украла её — у гостевого лица, на четверть листа.

Разговор, как ручей к низине, сам стекает к моей помолвке.

— Стеррен, — произносит Ормунда с той значительностью, с какой произносят чужую удачу. — Хорошая партия, милая. Очень хорошая. — Отпивает, держит паузу, чтобы все успели услышать, как сейчас будет «но». — Кто бы мог подумать.

— Отчего же не подумать, — говорит матушка. — Мы думали.

Дамы смеются — тихо, одобрительно: удар отбит красиво. Ормунда улыбается, ничуть не смутившись; ей и не нужно было попасть, ей нужно было бросить.

— Человек он основательный, — вступает Сельвира, и по тому, как ровно она это выговаривает, я слышу, чего ей стоит ровность. — Не молоденький ветреник. С таким за спиной не пропадёшь. — Поворачивается к дочери: — Верно,

Аделия? Тебе бы такого — степенного.

— Верно, матушка, — отвечает Аделия и смотрит в чашку.

Я знаю, что Стеррен ровесник моего отца. Знают и они. И оттого, что все знают и никто не находит в этом странного, это и есть самое обычное, что сегодня сказано за столом. Степенный, основательный, не ветреник. Мне девять раз повторили, какая я счастливая, что мне достался мужчина, который годится мне в отцы, и я девять раз согласилась — потому что так и есть: я счастливая.

О выкупе говорят с той же приятностью, с какой говорят о видах на урожай.

— Тридцать? — переспрашивает Сельвира, и веер в её руке на миг сбивается с такта.

— Тридцать, — подтверждает матушка ровно, будто речь о вишнях. — И уговор на дом, как теперь заведено у больших семей.

Что такое «уговор на дом», я знаю нетвёрдо — что-то стряпчее, про то, что роднятся не люди, а дома́, надолго и с условиями; скука в сургуче. Зато про тридцать понимаю хорошо: за Розалин в своё время давали двадцать, и о тех двадцати тётушки говорили два года. Выходит, я на треть дороже сестры, и это, судя по лицам, большая честь. Я спрашиваю — не с обидой, мне правда интересно:

— А отчего за меня больше?

За столом делается на вдох тише — так стихают, когда

ребёнок спрашивает то, что все знают и не произносят.

— Оттого, милая, что ты удалась, — первой находится Ормунда и улыбается мне почти ласково. — Порода, выучка, лицо. Товар лицом — и цена лицом.

Дамы смеются, и я с ними: сказано складно, а складное глотается легко.

— В Тишь, впрочем, я бы дочь не пустила, — роняет Ормунда, ни к кому. — Не девичье это дело. У Гарвенов вон сын ходил — вернулся, да не весь. Но у всякого дома свои порядки.

Это уже не про меня — про матушку: намёк, что в нашем доме порядки не те. Матушка принимает удар, не поведя бровью.

— Порядки у нас те, что дочь едет при женихе и при отце, — говорит она. — Целее, чем иная при маменьке дома.

Сельвира едва заметно вздрагивает — «иная при маменьке дома» это про Аделию, чья выгодная партия ушла из-под носа, — и я вижу, как под столом её дочь сминает салфетку. Мне снова её жаль. Жалость — единственное, чем я сегодня богаче их всех, и я стараюсь ею не хвастать.

— А что Гарвенов сын? — спешит Сельвира, хватаясь за чужую беду, как за поручень: увести бы разговор подальше от «иной при маменьке». — Я слыхала, телом он цел?

— Целёхонек, — охотно поворачивается Ормунда; такое она рассказывает вкуснее, чем ест. — Руки-ноги при нём, лицо при нём. Сидит у окна, смотрит в сад. Мать войдёт —

привстанет, поклонится: «сударыня». Родную мать — «сударыней». Забыл. Морок, говорят, своё берёт не спросясь: что подвернулось, то и взял. У этого подвернулась мать.

Ложечки замирают над чашками. Мгновение за столом никто не пьёт.

— Зато жив, — говорит кто-то, и все с облегчением соглашаются: зато жив, зато цел, могло быть хуже. Разговор торопливо утекает к чьей-то свадьбе.

А я сижу и думаю — не про ужас, до ужаса я не додумаюсь, — а про устройство: выходит, там можно потерять не руку и не глаз, а кого-то. И даже не заметить потери. Надо будет спросить у жениха, как это работает, — решаю я, и мне уже интересно.

###

От длинного стола меня уводят младшие. Их всегда сажают отдельно, чтобы не мешали большому разговору, и они этому рады: за малым столом можно говорить о том, о чём за большим нельзя.

— Расскажи, — требует Ниэла, самая младшая и самая нетерпеливая, — как он сделал предложение. Всё-всё расскажи.

И я рассказываю. Про сад, про занавеску, что дёргалась наверху, про то, как он сорвал розу и укололся, и посасывал палец, и был при этом ничуть не похож на жениха, а похож

на мальчишку. Рассказываю взахлёб и слышу, что голос у меня не тот, каким полагается говорить про сговор, — а тот, каким говорит моя младшая сестра о принцах и их конях. Мне всё равно. Ниэла слушает, приоткрыв рот, и я узнаю в ней тот же восторг, с каким ждут праздника.

— А братья твои приедут? — спрашивает девочка постарше, Ивонна, и по тому, как ровно она старается это спросить, я понимаю, что вопрос заготовлен ещё дома. — На свадьбу. Оба?

Братьев у меня двое, и по девичьим меркам оба — событие: Айнор доучивается при столичной академии, Кайрон второй год в корпусе. Кайрон писем не пишет — в корпусе, по словам Айнора, первым делом выучивают беречь чернила. Айнор пишет за двоих.

— Приедут, — говорю я. — Оба. Куда они денутся.

Ивонна розовеет и принимается очень внимательно разглядывать варенье. Мейлин наклоняется к ней и сообщает громким шёпотом:

— Айнор обещал привезти мне из столицы веер. Настоящий, с костяными спицами.

— Тебе-то зачем, — фыркает Ниэла. — Ты же маленькая. Дальнейшее приличным разговором назвать нельзя.

— А в Тишь, — выдыхает Ниэла, — тебя правда возьмут? В саму Тишь?

— Правда.

— И ты не боишься?

Я задумываюсь — не потому, что боюсь, а потому, что не могу вспомнить, когда в последний раз чего-нибудь боялась по-настоящему.

— Там чудовища, — говорю я вместо ответа, и говорю так, что девочки ахают, а во мне самой что-то загорается — то самое, знакомое, что зажигается, когда я смотрю на живое и хочу смотреть ещё.

Мейлин крутится тут же, у младшего стола: ей тринадцать, ей ещё рано за наш стол, но уже скучно за детским, оттого её не сажают никуда, и она страдает. Она ловит каждое моё слово про Тишь и глядит на меня так, будто я уже герой из её книжек.

— Меня возьмут в Тишь в следующий раз, — сообщает она девочкам с уверенностью того, кому ещё ни в чём не отказывали. — Айлин попросит отца.

Я не спорю. С Мейлин не спорят — Мейлин переживают.

###

К вечеру гусыни начинают собираться — не сразу, а с той долгой возни, за которой у дам прячется нежелание уехать первой. Кто первой встал, тот и наскучил; оттого сидят до последнего, кося друг на друга.

Матушка провожает их так, что каждая уносит уверенность, будто именно её задержали дольше прочих из особой приязни. Это отдельное искусство, и я смотрю на матушку,

как смотрят на мастера за работой.

Заминка выходит только с госпожой Креллой.

Крелла из тех, кто въезжает в чужую жизнь, как в незапертую дверь, — по-хозяйски и с полным правом. Она не встаёт вместе со всеми. Она, напротив, устраивается поудобнее.

— Ленора, душенька, — говорит она, — а отпущу-ка я карету. Что мне трястись на ночь глядя. Погощу у тебя недельку, помогу со сборами: девочке перед такой дорогой сто рук нужно, а у тебя две.

За столом делается тише. Оставшиеся дамы — те немолдые, что почему-то не спешат, — переглядываются.

Матушка не меняется в лице. Простое доброе лицо остаётся простым и добрым.

— Как же я тебя, Крелла, в тесноте держать буду, — говорит она с искренним огорчением. — У нас теперь всё вверх дном: портнихи, сборы, то одно, то другое. Тебе у нас покоя не будет, а я тебя без покоя не отпущу совеститься.

— Да какой мне покой, — не сдаётся Крелла. — Я в самую гущу и прошусь.

— Вот в гущу-то я тебя и не пущу, — матушка улыбается так тепло, что отказ звучит как забота. — Ты у меня гостья, а не работница. Со сборами мы сами управимся, не впервой. А вот когда всё уляжется да Айлин вернётся из похода с рассказами — тогда и приезжай, на целый месяц, и я с тебя слова не возьму, что помогать.

Крелла открывает рот и закрывает. Против прямого «нет»

у неё нашлось бы десять доводов, а против того, чтобы её усадили в кресло дорогой гостью и напоили заботой, — ни одного. Уехать теперь — согласиться, что её и не звали оставаться. Остаться — некуда: гущу от неё заслонили лаской.

Она уезжает. Улыбается до последнего, и матушка улыбается ей вслед, и обе знают счёт.

Я стою у окна и думаю, что моя матушка, у которой всю жизнь нечего было прятать, только что за полчаса выпроводила из дома женщину, которая очень хотела остаться, — и та уехала благодарная. Так не умеет тот, кому нечего прятать. Так умеет тот, у кого есть что.

###

Дом пустеет разом, как пустеет всё, что держалось на го-
лосах.

Остаются четыре немолодые дамы — четыре. Этих я знаю не первый год: они приезжают не на всякий чайный клуб, а на то, что прячется за чайным клубом, — на настоящий. При них матушка другая: не хозяйка, а будто младшая, хоть годами старше иных. Тайнопись, которой я вышиваю письма, знают все дочери нашего дома — ей учат, как учат держать спину. А тому, что за тайнописью, учат не всех: только ту, у кого к этому есть талант. У меня, выходит так, что есть. Я хожу к ним, сколько себя помню взрослой, и горжусь этим больше, чем голубым платьем и женихом, вместе взятыми.

Самая старая из них — её зовут Данеора, и она суха, как зимняя ветка, — весь день просидела в углу с пальцами и почти не раскрыла рта. Теперь она подзывает меня движением пальца, берёт мою руку, поворачивает ладонью вверх и смотрит долго — не на ладонь, а сквозь неё, как смотрят на лёд, прикидывая, выдержит ли.

Она не спрашивает, держу ли я форму в голове: знает, что держу, — сама годами меня к тому гнула. Она прикидывает другое.

— Ну что, — говорит она наконец, и не мне, а матушке. — Пора и злomu учить. Раз уж вы её в самое пекло везёте.

— Пора, — тихо отвечает матушка, и в этом «пора» нет ни капли радости.

Я не сразу понимаю, о чём они. Меня всю жизнь учили держать и беречь — себя, дом, когда-нибудь детей; учили заслонять, а не бить. Бить у нас не учат: незачем, некому, не про девиц. А теперь, выходит, будут — меня.

И вместо того чтобы насторожиться, я загораюсь. Мне дают новое, трудное, какого не дают другим. Я даже не думаю спросить, с чего это доброй невесте в приданое кладут умение бить, — думаю лишь, что завтра будет что учить и что я, как всегда, выучу быстрее всех.

Данеора отпускает мою руку. Взгляд её, соскользнув с меня, останавливается на Мейлин — та ещё не ушла спать, топчется в дверях, подслушивает взрослых. И Данеора смотрит на неё так же, как только что смотрела на меня: сквозь, при-

кидывая глубину. Мейлин тринадцать. Скоро станет видно, есть ли и у младшей талант к тому, что за тайнописью, — а если есть, то однажды и её усадят вышивать не только письма.

Я ловлю этот взгляд, и по спине — впервые за весь долгий пёстрый день — проходит холодок. Но Мейлин корчит мне рожу из дверей, холодок тает, и я забываю о нём, как забывают дурной сон к обеду.

— Иди спать, — говорит мне матушка и гладит по щеке; рука у неё тёплая. — Завтра день тяжёлый. Тяжелее прежних. Тебе понравится — ты у меня всегда любила трудное.

Я и правда люблю трудное — и уйду наверх почти вприпрыжку, унося это «понравится» с собой, как уносят со стола лучший кусок.

На верхней ступени я оглядываюсь. Внизу, в жёлтом кругу свечей, четыре немолодые дамы так и сидят над пальцами, в которых за весь день не прибавилось ни стежка, и молчат — так молчат не над отдыхом, а над работой, которую нельзя отложить. Матушка среди них — младшая.

Похвалу я уношу с собой. Всё остальное остаётся внизу, при свечах.

Глава 3

Вчера дом был полон гостей. Сегодня он полон моих учителей.

Мужчины в отъезде — оттого и можно. При мужчинах наше дело делается тем, чем его велено считать: рукоделием да приличным занятием для девицы. Без мужчин пяльцы ложатся на колени иначе — не как ширма, а как дело.

С утра, пока съезжаются, я иду через дом и слушаю, как колдует прислуга.

Прачка над щёлоком бормочет своё — короткое, стёртое, как молитва, которую читают сто лет подряд: чтоб белё не серело. Кухарка над опарой шепчет «подымись-подымись-подымись», и тесто слушается её так же лениво, как поварёнок. У них всё словами, вслух, при всех; слова простые, залатанные, передаются от бабки к внучке вместе с корытом. Никто не таится: бытовое слово — как веник, кто же прячет веник.

Мужское — то, что с обрядом и по-писаному, — я видела только издали: ему учат в академиях, им гордятся, его зовут вслух полным именем, как зовут породистого коня.

А наше не зовётся никак. Наше — тишина да иголка. Я прохожу мимо, и прачка кланяется барышне, которая идёт вышивать. Пусть кланяется. Ремесло у каждой своё.

Нас пятеро. Матушка, три немолодые дамы из тех, что

вчера остались, и я. Данеору пятой не считаю: она сидит поодаль, в том же углу, с теми же пальцами, и смотрит. Она всегда смотрит.

Я хожу к ним, сколько себя помню взрослой, и утро урока для меня — как для Мейлин утро праздника. Тайнописи, которой я вышиваю письма, учат всех дочерей нашего дома — как учат держать спину и лить чай, чтобы не звякнуть. А тому, что за тайнописью, учат не всех. Меня — учат. По матушке — оттого, что у меня талант; по мне — просто оттого, что иначе я не умею. Мне дают трудное задание, и я в него проваливаюсь, как проваливаются в сон, а выныриваю к вечеру, не помня, когда стемнело.

###

Начинаем с привычного, как разминают руку перед тонкой работой.

Мне кладут перед глазами вышитый платок — не для красоты: по нему, как по нотам, читается схема. Стежок к стежку, узел к узлу; кто не учен — увидит цветы, а учен — увидит, что за цветами. Я читаю его, не шевеля губами: читать вслух нечего, слов тут нет. В этом вся наша разница с громкой родней: их дело записано и зовётся вслух без опаски, наше не зовётся вовсе — назвать значит накликать. Мы молчим.

Я закрываю глаза и строю.

Собираю форму по стежкам платка, поворачиваю её, оглаживаю мысленно со всех сторон, как оглаживала бы кувшин, прежде чем рисовать, — и держу, чтоб стояла сама, когда перестану смотреть. Виски наливаются. Дыхание само делается редким и ровным — так дышат, когда несут полную до краёв миску, боясь плеснуть.

Свеча передо мной кладёт пламя набок, хоть в комнате ни сквозняка.

Держу дольше — пламя тянется ниже, к столу. Отпускаю — встаёт. Клонить свечу учат первой, это забава; а у меня всякий раз от неё бегут мурашки — оттого что я не сказала ни слова, не двинула пальцем, а огонь меня послушался.

Свеча — это над вещью, над мёртвым; такому учат первым, оно и даётся легко. Живое своевольно: у него своя форма, и держать над ним свою волю куда труднее — к живому нас ведут годами, сперва рисовать тело, потом сводить его целым. А сегодня, видно, поведут ещё дальше.

На привычном я тверда. Одна из дам — её зовут Тавьена — просит меня удержать форму потяжелее, и я держу, и она роняет «чисто», и в этом «чисто» мне слаще, чем во всех вчерашних «какая ты счастливая».

Потом — живое, по заведённому.

Тавьена без предупреждения проводит ножичком для нитей по подушечке большого пальца — коротко, привычно, как отрезают хвостик нитки. Кровь выступает бусиной.

— Своди.

Я беру её руку. Сначала — найти: форма, которой учат на живом, не сводит рану, она её ищет — где кончается ровное, докуда дошло, чего задело. Палец у Тавьены в старых тонких шрамиках, и все на одном месте: сколько учениц — столько шрамиков. Я нахожу край, веду форму вдоль и стягиваю — медленно, как смётывают на живую нитку, только нитки нет.

Бусина перестаёт расти. Разрез закрывается — не до конца: розовый след останется до вечера.

— Годится, — говорит Тавьена, отбирая руку. — Швея из тебя выйдет.

И, пока я перевожу дух, гоняет меня по остальному — по всему, что я умею, чтоб не залежалось. Всё оно из одного корня, я это знаю с детства: раз научилась глядеть под кожу да держать над живым свою волю — а дальше та же рука делает разное. Заслон — держать волю ребром, стеной: шпилька, которую Тавьена роняет мне на запястье будто невзначай, отскакивает, не коснувшись. Свод — держать тепло в четырёх стенах, чтоб не выстудило дом и дитя. Отвод — увести чужой взгляд стороной, чтоб скользнул по тебе и не зацепился. И само сведение — держать рану правильной, пока не срастётся.

Четыре руки одной ладони: закрыть, согреть, увести, сшить. Всё про «сберечь». Тавьена сыплет заданиями, я ловлю их одно за другим и не роняю, и мне впору загордиться — да Данеора из угла не даёт.

У меня звенит в ушах и мокро между лопатками, будто я

бежала. Матушка, не отрываясь от своего, подвигает ко мне мёд и хлеб.

— Ешь. Наша работа тоже кормится.

Я ем и запоминаю: у тишины та же цена, что у громкого слова. Просто мы платим её без свидетелей.

Данеора из угла говорит, ни к кому:

— Рано хвалить. Всё это — «сберечь». Пора и злomu.

###

Меня всю жизнь учили держать и заслонять.

Тавьена, не глядя, роняет мне на руку шпильку — а я и не смотрю: форма сама встаёт между кожей и остриём, и шпилька отскакивает, будто от камня. У Тавьены на уроках вечно что-нибудь падает, и всегда — остриём. Это я умею с малых лет. Заслонить, согреть, запереть дверь без ключа, увести чужой глаз мимо — всё об одном: сберечь. Себя, дом, когда-нибудь детей. Засову я, к слову, выучилась первым делом: от сестёр он в нашем доме нужнее, чем от воров. Нас учат обороняться так, как учат девицу обороняться от людей — от дурного гостя, от чужой руки.

Сегодня матушка кладёт передо мной другой платок.

Я читаю его и не сразу понимаю, что читаю. Схема знакома по строю — и незнакома по тому, куда ведёт. Она не заслоняет и не сводит. Она метит — в одну точку.

— Всякое живое где-то тонко, — говорит матушка, и го-

лос у неё ровный, слишком ровный. — Ты рисовала, что под кожей. Вспомни: где жила выходит к самой коже, где глаз, где под челюстью бьётся. Не по всему телу — в одну точку. Как загоняют иглу под ноготь.

Я вспоминаю. Я рисовала это годами — не цветы, не птиц, а то, что под ними: как ходит кость, где бьётся жила, где живое тоньше всего. Меня учили этому под видом «чтобы верно лечить». А выходит — чтобы ещё и верно попасть.

Форма эта не как заслон: заслону по нраву ширь, стена. Этой нужен острый конец и одна точка, не больше. Силы в ней мало — вся сила ушла в прицел; зато куда воткнётся, туда входит глубоко и наверняка. Я свожу её в жало и веду к платку на пальцах у Тавьены — и в тугой ткани, ровно там, куда целю, лопается один узелок, круглой дырочкой, будто проткнули шилом.

В комнате тихо.

— Так и знала, что у неё пойдёт, — говорит Тавьена. И отчего-то без радости.

А у меня внутри поёт. Мне дали новое, трудное, злое, какого не давали, — и оно у меня пошло с первого дня. Я хочу ещё. Я не спрашиваю, зачем доброй невесте перед свадьбой умение попасть иглой в чужую жилу; я думаю только, что завтра прицельюсь вернее и что схему надо разобрать до последнего узла, пока не легла спать. Мне дают новое, трудное, интересное. Я счастлива.

И лишь позже, подняв глаза, чтобы попросить платок по-

тяжелее, я поймаю материно лицо — то самое, простое и доброе, за которым что-то есть. Она глядит не на мои руки, а на меня, и не улыбается моей удаче, как вчера улыбалась чужим языкам. Подбирает губы — так подбирают их над тем, что уже сделано и чего не переделать.

Я спишу это на то, что она тревожится за дорогу. Я много чего в эти дни спишу на дорогу.

Посреди урока в дверь стучат — и входит Гретта с подносом, не дождавшись ответа: молодая ещё, порядка не выучила.

На столе — платки, раскрытые все, как есть. На пальцах у Тавьены, посреди тугой ткани, — дырочка, аккуратная, будто проткнутая шилом, а шила рядом нет. Убрать не успели. Мне на один вдох делается холодно.

Матушка не встаёт и не заслоняет стол. Она только смотрит на Гретту — спокойно, приветливо — и делает то, чего я не вижу, а чувствую: воздух над столом будто плотнеет, как плотнеет над свечой.

— Поставь у окна, милая.

Гретта проходит через всю комнату, мимо стола, скользя по нему взглядом, — и взгляд не цепляется ни за что, как вода не цепляется за стекло. Ставит поднос, кланяется, выходит.

— Отвод, — говорит матушка мне, не понижая голоса, когда дверь закрывается. — Глаз не обманешь. А вот куда ему смотреть — подскажешь. Самая мирная из наших форм

и самая ходовая.

Я смотрю на стол, на котором всё лежало открыто, и думаю, что и дом наш, наверное, устроен как этот стол: всё на виду — и никто не видит.

#

К Данеоре меня отправляют, когда новое, злое выходит у меня так же хорошо, как и остальные, хорошие.

Я давно знаю, что Данеора не такая, как мы, и давно не спрашиваю. Уши у неё прикрыты волосами не по моде; руки старухи, а лицо не старухино; и она помнит то, чего при живой памяти помнить нельзя. Раз, маленькой, я спросила матушку, сколько Данеоре лет. «Больше, чем нашему дому», — сказала матушка, и спрашивать я перестала.

Она берёт мою руку — как вчера, ладонью вверх, — но теперь не смотрит сквозь, а кладёт мне в ладонь свёрнутый платок. Тяжёлый для платка: что-то зашито по краю.

— Это твой, — говорит она. — Не для показа. Схема на нём такая, какой у матери твоей нет и не было. Разберёшь — сама поймёшь какая. Не разберёшь — значит, рано, и слава богам.

— А если пойму? — спрашиваю я.

Данеора смотрит на меня долго. В глазах у неё нет вчерашней прикидки. Вчера она мерила, выдержит ли меня лёд. Сегодня смотрит так, будто лёд подо мной уже треснул.

— Тогда, — говорит она, — тебе это очень пригодится там, в Тиши. Жаль только, что пригодится. Лучше бы не пригодилось.

Я держу её платок — внизу читается название: «Веретено» — и не понимаю, отчего мне вдруг холодно в тёплой комнате. А потом любопытство берёт своё — оно всегда берёт, — и я думаю уже не про холод, а про то, какая же там схема и как бы поскорее остаться одной и её разобрать.

###

Мейлин находит нас к обеду — её вечно тянет туда, где взрослые заняты тем, чего ей нельзя.

Ей тринадцать, и тайнописи её учат второй год — как всех дочерей. Тому, что за тайнописью, ещё не учат: рано. Талант просыпается в её годы — или не просыпается. Она подсаживается ко мне, тычет пальцем в мой платок — «а это что за цветочки?» — и я убираю платок: это не цветочки, а я не хочу, чтоб она увидела, что за цветами. Для Мейлин пока всё на свете цветочки. «А правда, что вы тут...» — начинает она звонко и не успевает договорить: Тавьена, не поднимая глаз от пялец, роняет коротко: «Тс-с. Вышиваем». Мейлин осекается. Её ведь тоже учат — и раньше, чем самому ремеслу, учат о ремесле молчать; и по тому, как трудно ей прикусить язык, видно, что этот урок даётся ей хуже вышивки.

Но не я одна на неё гляжу.

Данеора ведёт по Мейлин из угла тем же взглядом, каким вчера вела по мне и каким сегодня трогала мою ладонь: сквозь, прикидывая глубину. Долго. И матушка ловит этот взгляд, и на один удар делается такой, будто у неё спросили то, чего она боится, — а после встаёт и уводит Мейлин «помочь на кухне», и в спину ей глядит так, как не глядят на ту, кому желают таланта.

Пусть у младшей пока будут балконы, принцы и кони, думаю я. И тихонько, впервые, желаю ей быть бездарной. И тут же гоню эту мысль, потому что грех желать сестре пустой головы.

Грех. А я всё равно желаю — и даже не могу себе объяснить отчего.

###

Отец возвращается к вечеру и на пороге женской половины останавливается, как останавливаются у чужой двери, хоть дверь и в его доме.

— Не помешаю? — спрашивает он. Это не вопрос, а любезность: помешать он и не думает, ему просто положено спросить.

— Что ты, — говорит матушка и складывает перед ним всё так гладко, что я люблюсь. — Мы девочке перед свадьбой бытовое повторяем. Как дом держать, как от дурного глаза уберечься, женские премудрости. Тебе скучно будет.

— Бытовое, — соглашается отец, и по лицу его видно, что он уже забыл, о чём спросил. Громкое, учёное — «настоящее»; а наше, тихое, для него вроде варенья: пусть дамы чем-то там заняты, лишь бы к столу подавали. Он и не смотрит на платки, разложенные по столу, — а на них разложено такое, за что в ином месте жгут. — Ну, повторяйте.

И уходит, непроницаемый, как ореховая дверь, за которой в этом доме глушат всё важное.

Он даже не знает, что оставляет меня учиться убивать. Он думает, что оставляет меня учиться беречь очаг. И, если разобраться, он не так уж неправ: скоро мне придётся беречь мужа, защищать наших будущих детишек и мир в нашем доме.

###

Ночью я не сплю — день дал мне больше, чем иной месяц, и всё это просит, чтоб я разложила его по местам.

Злую форму — иглу, что бьёт в одну точку, — я дождала ещё за столом: узлы у неё скупые и злые, прицел есть прицел. Разобрала, удержу.

Свеча у матушки внизу горит дольше моей. Спустившись за водой, я вижу её в щель двери: не спит — вышивает, склонясь низко, мелко-мелко, будто по памяти, без образца. Заслышав меня, накрывает работу ладонью и не оборачивается, пока я не уйду. Прячет. От меня прячет — от кого ж

ещё. Своё что-то, решаю я; у матушки свои секреты, у меня свои. И иду к себе — со своим.

А на ночь я берегла секрет Данеоры. Его и раскрываю — и понимаю, отчего «такой у матери нет».

Строй не тот. Стежки мельче всех, что я читала, узлы вложены один в другой, как шкатулка в шкатулку, и вся схема глядит внутрь, в само живое, — будто щупает его, ищет. Это тоже злое, тоже про «ранить» — но не как игла. Игла бьёт, куда укажу я; а эта, сдаётся мне, ищет сама. Что и как — за одну ночь не разберу; узлы поддаются медленно, неохотно, как поддаётся всё, что стоит настоящего труда. Кое-что уже понимаю. Остальное — ещё нет, и от этого «ещё нет» руки чешутся, как чесались всегда перед трудным.

Я не думаю о том, что сказала Данеора: что мне это пригодится там, в Тиши, и что жаль. О плохом я думать долго не умею — оно во мне не держится. Я думаю только, что я, кажется, единственная во всём доме, кому дали эту схему; что матушка сказала «чисто»; что за оставшиеся до отъезда ночи я её доведу — и увезу с собой не в поклаже, а в голове.

Я самая прилежная ученица, какая была у моей матери, и самая счастливая невеста во всей Вельдарии. Мне дали интересную задачку — и я её одолею.

Свечу, догоревшую до блюдца, я гашу сама — как учили первым делом: кладу пламя набок и держу, пока не стемнеет. В темноте схема стоит перед глазами ещё упрямее, чем при огне.

Разберу. Я всегда разбираю.

Глава 4

Дом, который всю мою жизнь стоял на местах, вдруг съезжает с них весь разом.

По коридорам таскают тюки; во дворе разбирают и вяжут поклажу; конюшня не смолкает; из кладовых выносят то, о чём я и не знала, что оно у нас есть, — копыя, к примеру. Зачем копыя дому, где страшнее гусыни зверя не водилось, ведомо одним кладовым. Дом, где громче всего был торг за ореховой дверью, теперь гремит, стучит и бранится вполголоса, — и я хожу посреди этого грома счастливая, как не была счастлива никогда.

Меня — в Тишь. Всё остальное — подробности.

###

Мне велено не мешать, и я не мешаю. Я смотрю.

Смотрю, как выучат лошадей: что кладут вниз, что наверх, что оборачивают в промасленное, а что в солому. Смотрю, как люди Тайвела проверяют оружие — не парадное, а рабочее, заточенное, за которым ухаживают, как ухаживают за тем, что не раз спасало тебе жизнь. Запоминаю, у кого что, — так запоминала бы узор, чтобы после положить его на бумагу. Мне этого никто не поручал; но я всегда на что-нибудь

смотрю, и мне давно велено этого не показывать, а тут вдруг вышло, что смотреть можно на всё, и никто не одёрнет.

Я подсаживаюсь к обозным, к оружейнику, к седому наёмнику со шрамом через бровь — и выпрашиваю. Что берут в Тишь, чего не берут. Правда ли, что там — и дальше десять вопросов, на которые мне отвечают вполовину, посмеиваясь: «мала ты ещё, барышня, знать такое». Я не спорю: кто спорит, того гонят, а кто кивает, тому рассказывают дальше. Киваю. От недосказанного мне только любопытнее. Я собираю по крохам и складываю в голове картину места, которого не видела, — и картина с каждым днём всё чудеснее и всё страшнее, и обе её стороны мне равно по вкусу.

У седого наёмника на шее, на ремешке, висит пластинка с ноготь величиной — тёмная, зеленовато-чёрная, в мелкую насечку. Я спрашиваю, что это. «Чешуя, — говорит он и, помедлив, даёт потрогать. — С тамошней твари. Кто носит, того, говорят, Тишь за своего держит». Чешуйка тёплая от его кожи и гладкая, как речной голыш. Я держу её дольше, чем прилично, разглядываю насечку — как ложится, как заходит край за край, — и возвращаю. Рисовать такое было бы одно удовольствие.

Старый конюх — тот, что при отце с его молодости, — смотрит на меня, когда я верчусь у денников, дольше, чем смотрят на барышню, которой скучно. Смотрит так, будто хочет что-то сказать, да не его это дело — говорить. Я киваю ему, он кивает мне, и мы оба молчим: он о своём, я о своём.

По ночам, когда дом наконец затихает, я достаю платок Данеоры.

Тот, что не для показа. Я разбирала его с той самой ночи — узел за узлом, стежок за стежком, — и то, что поначалу не давалось, теперь ложится в голову целиком. Я вижу форму, которую он держит, всю, насквозь; я могу построить её с закрытыми глазами и не уронить. «Разберёшь — сама поймёшь какая», — сказала Данеора. Я разобрала. И поняла.

Что это за форма, я теперь знаю до последнего узла.

Всё, чему меня учили прежде, было про «сберечь»: заслон держит удар, свод держит тепло, а свести рану — значит держать её правильной, пока не затянется, и для этого надо знать тело: где жила, где сустав, где под кожей тонко.

Веретено я разгадала ещё дома, в последние ночи перед отъездом, — ту, что «у матери нет и не было»; в дороге, по ночам, только повторяю её, чтоб не остыла в руках. Игле меня выучила мать: игла бьёт туда, куда целю я, — я сама должна знать, где у живого тонко, где жила подходит к коже, и попасть; силы в ней мало, весь расчёт в моём глазе. Форма Данеоры — тоже удар, тоже злая, но устроена наоборот. Она не спрашивает меня, где слабо. Она идёт по живому сама — щупает, ищет — и находит слабейшее место вернее, чем нашла бы я: не там, где мне кажется, а где вправду подастся.

Мне остаётся довериться ей и отпустить — и она рвёт там. Мать научила меня попадать. Данеора — находить.

Оттого держать её и труднее иглы: игла смиренная, лежит в руке ровно, а эта своевольна — рвётся вести сама, тянет поводья из рук, как собака, учуявшая след. Довериться ей боязно и сладко разом. Я строю обе — иглу и веретено — и обе удерживаю, и меня потряхивает: не от страха, а оттого, что мне это удаётся.

Вслух я это не назову: у нас такое не называют, назвать — уже навлечь на себя беду. Но про себя знаю: мне дали убивать — и дважды. Иглой — куда попаду сама; и веретено, что найдёт слабое за меня. Доброй невесте перед свадьбой — два способа ранить живое насмерть. И, стыдно сказать, во мне от этого поёт так же, как поёт оттого, что меня везут в Тишь.

Я прячу платок глубже всех прочих — не в приданое, куда сложили девичье, а к себе, в потайное. Это моё. Про него не знают ни матушка, ни сёстры, никто. Впервые в жизни у меня есть что-то, что знаю только я, — и я ношу этот секрет под рёбрами бережно, как носят тепло под плащом.

###

Днём — уроки помягче, на людях.

Матушкины подруги, что ещё не разъехались, гоняют меня по тому, что дозволено знать девице: как заслониться, как

отвести, как уберечь. «Мало ли что, — говорит одна, поправляя мне пальцы над пальцами. — В дороге всякое. Сумей и себя закрыть, и, коли надо, отца да жениха».

Жениха. Я прилежно строю заслон и думаю про себя, что защищать Тайвела мне вряд ли придётся: со мной едет он сам, а с ним — мой отец, а с отцом — его гвардия. Двух таких мужчин, да при оружных людях, во всей Вельдарии поискать. Кого мне бояться? Я еду в самое страшное место на свете под самой крепкой охраной, какая у меня в жизни была.

Тайвел заезжает ещё раз, перед самой дорогой. Привозит мне мелочь — не мелочь, а тонкую вещицу, каких не дарят невесте по уговору, а дарят той, кого просто хотят порадовать: без повода, ни за чем. Застёжку в виде листа, холодно-го серебра. Он сам закалывает ею мой воротник, и пальцы у него на миг задерживаются, и я краснею так, что это, должно быть, видно с другого конца двора.

У меня для него тоже есть — впервые. Я приготовила загодя, сама, тайком: платок с его вензелем, вышитый в две недели, моей рукой. Пустой, без второго дна, просто платок — но такой, каких не купишь: две недели вечерами, и вензель я перешивала трижды.

Я протягиваю — и в первый раз вижу Тайвела застигнутым врасплох.

Всего на миг. Он берёт платок — и не знает, куда деть лицо: благодарность идёт ему, как чужое платье с плеча. Он,

что дарит легко, метко, ни за чем, — принять не умеет вовсе; словно ему суют в руки долг, которого он не делал, и надо теперь этот долг признать. Он справляется быстро — целует мне пальцы, говорит что-то тёплое и ровное, — но заминку я поймала, и мне она милее всех его гладких слов: вот, значит, где у ровного человека шов. Не любит быть должным. Даже мелочи, даже мне.

Умилительно, думаю я. Гордый.

— Скоро, — говорит он, пряча мой платок к сердцу — быстрее, чем прячут дорогое, будто с глаз долой. — Потерпите ещё чуть-чуть. Я обещал вам чудовищ — будут вам чудовища.

Я терплю. Плохо, нетерпеливо; время тянется, как прежде не тянулось. Но терплю.

#

Отец в эти дни занят больше обычного, и занят тихо.

Он не гремит, как двор. Он отдаёт распоряжения вполголоса, буднично, тем ровным голосом, каким говорит о зерне и починке крыши. И оттого, что он так буднично собирает не свадьбу, а поход, мне отчего-то зябко на самом донце — там, куда я обычно не заглядываю. Не заглядываю и теперь. Мало ли отчего человеку зябко; верно, от сквозняков — в доме нынче все двери настежь.

Поход выходит основательнее, чем я ждала от «прогулки,

чтобы показать невесте промысел». Отец с Тайвелом собираются не на кромку, а вглубь; а вглубь, я слышала краем, знатные люди ходят редко и всегда вместе — чтобы делить и дорогу, и добычу. Наш поход — общий с Тайвелом, оттого и хлопот вдвое, и людей вдвое. Оглядывая двор, я вижу, что народу собирается куда больше, чем надо, чтобы поглазеть на монстров.

Много солдат. Молодых — эти рвутся за славой, гогочут, точат оружие с утра до ночи. И старых — эти не гогочут; эти смотрят на молодых так же, как наш конюх смотрит на выведенного к покупателю телёнка. Я замечаю этот взгляд и не понимаю его. Я в эти дни замечаю много такого, чего не понимаю, и складываю про запас — авось пойму после.

К солдатам в последние дни прибавляются обозные — их нанимает отцов управляющий где-то в городе, и во двор они входят уже своими: десяток смирных мужиков в одинаково новых рубахах. Работают молча, едят много и глядят больше в землю. Я спрашиваю у кастеляна, кто такие. «Снабженцы, барышня. До места и обратно, за харч и плату». Кормят их, я замечаю, с нашего котла и не скупясь — лучше, чем конюхов, — и я отмечаю это с гордостью за отца: он всегда говорил, что на работном человеке не экономят. Один из них, постарше, ловит мой взгляд и тут же опускает глаза — торопливо, как опускают, когда смотреть не положено. Стеснительные, думаю я. Из простых; при господском дворе робеют.

Кое-что от меня держат в стороне. Есть у сборов угол, ку-

да меня не зовут: там что-то готовят отдельно, тихо, и стоит мне подойти близко, как разговор глохнет или сворачивает на погоду. Однажды я спрашиваю у Тайвела прямо: что там?

Он глядит на меня тепло и отвечает не сразу.

— Дорога в Тишь не бесплатная, Айлин, — говорит он. — За всякий трудный проход чем-то платят. Вам про это знать незачем — на то есть я, и ваш отец, и вот эти люди. Ваше дело — смотреть на чудеса. Наше — довести вас до них целой.

Мне это нравится. Мне нравится, что за меня заплачено; что обо мне позаботятся; что мне оставили одни чудеса, а всё несладкое взяли на себя мужчины. Меня всю жизнь к этому вели — быть той, о ком заботятся. И я не спрашиваю, чем же именно платят за трудный проход и кто; я слышу «за вас всё сделают» и успокаиваюсь, будто тёплой ладонью по голове поглаженная.

###

Уезжают наутро, а прощаться дом начинает с вечера.

К ночи съезжаются сёстры с мужьями — обе, и Розалин, и Кателин, хотя до Розалин полдня пути, а до Кателин и во-все день с лишком. Я тронута и удивлена: на мою помолвку они слали поздравления с посыльным, а тут — сами, обе, к простым проводам.

За ужином шумно и тесно, как в детстве. Зятя говорят с

отцом о дорогах и ценах на зерно, отец отвечает через слово — голова его уже в походе.

Братья прислали с посыльным письмо — одно на двоих, как всегда: пишет Айнор, Кайрон передаёт поклоны, по одному на всю семью, экономно. Матушка читает вслух за столом. Айнор клянётся, что к свадьбе вырвется из академии, «хоть бы пришлось дезертировать»; ниже, отдельной строкой, приписано для Мейлин: дезертировать не придётся, вер куплен. Мейлин победно оглядывает стол. Кателин качает головой: «Балует он её». Балует. Все мы её балуем — на то она и младшая.

Я слушаю братнино письмо и думаю, что в следующий раз мы соберёмся вот так все — уже на свадьбе. Стол будет длиннее, шуму — вдвое. А сёстры взяли меня в клещи, каждая со своей наукой.

У Розалин на всякий случай жизни есть правило, и все её правила — про мужа.

— Мужу надобно радоваться, — наставляет она, поправляя на мне воротник совершенно матушкиным движением, только без матушкиной руки. — Вернулся — радуйся. Уехал — жди и радуйся, что есть кого ждать. И главное, душа моя: никогда не показывай мужу, что ты умнее.

— Это будет нетрудно, — обещаю я.

Розалин довольна. Кателин фыркает в чашку.

Кателин вообще всё больше молчит и смотрит — так, как я смотрю, когда думаю, что никто не видит. Уже прощаясь,

на лестнице, она вдруг берёт меня за локоть.

— Смотри там, — говорит она и по своему обыкновению не договаривает.

— За чем смотреть?

— За всем.

И уходит спать, оставив меня посреди лестницы с этим «за всем», как с корзиной, которую сунули в руки и не сказали, куда нести. Кателин всегда каркает. Замужество ей не в радость, вот и каркает — так я себе это объясняю, и объяснение сидит ладно, как перчатка.

#

В последнюю ночь я не сплю.

Не от страха — от того, что во мне не помещается. Завтра меня увезут из дома, где я знаю каждую скрипучую половицу, каждое лицо на потемневших портретах, каждую занавеску, из-за которой за мной присматривают. Увезут туда, где живое живее всего, где чудовища, где никто не дёрнет занавеску, если я засмотрюсь дольше приличного. Впервые в жизни меня выпускают — из дома, из-под пялец, из-под опеки, на волю, которой я прежде и не хотела, а теперь хочу так, что заходится сердце.

Я лежу и перебираю в голове всё, что видела за эти дни: выюки, оружие, чужие шрамы, взгляд старого солдата на молодого, угол, куда меня не зовут. Складываю, складываю —

и нарочно не свожу концы. Сведёшь — и, чего доброго, придётся заметить то, чего замечать не хочется. А мне хочется одного: чтобы скорее настало утро.

Под половицей, в моей комнате, лежит мой секрет — платок Данеоры, тот, что я разгадала сама. В дорогу я его не беру: такое в поклаже не возят, да и незачем — одну эту форму я вызубрила до последнего узелка, она теперь во мне, а не в нитке; платок своё отдал. Пусть лежит под половицей, ждёт. А материн платок — со мной: он не одна форма, а целая грамматика, из которой формы растут без счёта, такое в голове не удержишь — такое носят при себе. В приданом лежит девичье. Под половицей — дорогой подарок, что остаётся дома. В сердце лежит Тайвел. А на мне, узлом на затылке, лежит дорога. А впереди — Тишь.

Где-то этажом ниже не спит и матушка — я слышу её шаги, ровные, туда и обратно, туда и обратно. Считает, верно, чего недоложили в сундуки, думаю я и переворачиваюсь на другой бок. У матушки перед дорогой одна забота: чтоб дитя не замёрзло да не оголодало. Обычная, материнская.

Я умею читать по шагам не хуже, чем по лицам, — а материны в эту ночь не читаю. Мне не до них: у меня впереди дорога, и я слушаю только её.

И оттого засыпаю счастливой. Шаги внизу всё не смолкают.

Утро отъезда начинается с Мейлин — она врывается ко мне до света, забирается с ногами на постель и объявляет, что это нечестно.

— Всё тебе, — считает она, загибая пальцы. — Жених — тебе. Тишь — тебе. Чудовища — тебе. А мне — спрядения зубрить.

Под мышкой у неё книжка. Не её всегдашние, про принцев, — толстый роман из тех, что читают замужние дамы, подарок Тайвела сестрице будущей жены. Она с ним теперь не расстаётся, носит, как носят щенка, и прячет от матери. Доросла, стало быть, до дамских романов. Растёт быстрее, чем я собралась замуж.

— Я тебе всё расскажу, — обещаю я. — Всё-всё. Про каждое чудовище.

— Рассказывать — это не то, — вздыхает она с недетской точностью. — Это как нюхать чужой пирог.

Внизу, во дворе, уже гремит и фыркает: грузят последнее, выводят лошадей. Мейлин виснет на мне до самого крыльца и там, при всех, ударяется в слёзы — громкие, честные, тринадцатилетние.

— А меня? Меня возьмут когда-нибудь?

Ей отвечаю не я. Тайвел — он уже в седле и сверху вниз, через головы взрослых, говорит ей приветливо, как большой:

— В другой раз — непременно.

Мейлин расцветает сквозь слёзы — мгновенно, как умеет только она. Я думаю: какой он всё-таки добрый, даже с детьми у него находится верное слово. И ещё я думаю, смеюсь про себя: бедный Тайвел — Мейлин теперь с него не слезет.

###

Матушка выходит последней, когда всё уже увязано и все простились.

Она ничего не несёт, кроме платка — простого дорожного платка, сложенного на её ладонях, как складывают не вещь, а письмо. Отводит меня на два шага в сторону, к нише у дверей, где мы вдруг оказываемся одни посреди полного двора, — она умеет так делать, я всегда завидовала.

— Повернись.

Я поворачиваюсь, и она повязывает мне платок на волосы — дорожно, ловко, узлом на затылке. Пальцы её расправляют ткань дольше, чем надо, чтобы расправить ткань. Руки её опять не находят покоя, как в тот день, когда съезжались гусыни. Перед дорогой у всех такие руки, решаю я.

Под пальцами, у самого уха, я чувствую стежки. Плотные, частые — тайнопись; вышивки тут на добрый лист письма, и легла она недавно: нить ещё не притёрлась, топорщится. Вот, значит, над чем матушка не спала эти ночи, пряча работу от

всех, даже от меня.

— Тут две схемы, — говорит она тихо, у самого уха, будто расправляет ткань. — По кайме, с лица и с изнанки. Первая — коли рана загниёт, а лекаря нет: гонит порчу вон, чистит, тянет жар наружу. В походе такая форма — жизнь; её затверди первой, накрепко. А с изнанки — та же самая, да вывернутая: что первая гонит вон, эта гонит внутрь.

— Зачем же злую-то, — шепчу я.

— Затем, что не поняв, как хворь загнать, не выучишься её выгонять. Одно — оборот другого; порознь их не понять. — Она глядит на меня тем ровным, за которым всегда что-то есть. — И это тебе не одна форма, дочка. Это корень. Разберёшь его как надо — сама увидишь, как всякая форма выворачивается наизнанку, и пойдёшь дальше, чем тебя тут учили. Только помни поверх всего: рука одна. Что лечит, то и калечит. Разница вся — куда ведёшь.

Я киваю. Под ложечкой знакомо чешется: мне дали не готовое — мне дали то, из чего само растёт. Разберу после, на привалах, до последнего узелка; а покуда — просто ношу на себе, тёплое, материн подарок в дорогу.

— Не снимай, — говорит матушка.

— Жарко же будет...

— Не снимай.

Голос у неё ровный — слишком ровный, тем самым ровным, каким она при гостях говорит самое важное. Я поднимаю глаза. Лицо у матушки простое и доброе, а за ним, не

прячась, стоит то, что всегда за ним стоит, — и смотрит на меня так, что мне на миг делается тесно в груди. Она открывает рот, начинает:

— Если...

И не заканчивает. Первый раз на моей памяти матушка не заканчивает фразу.

— Пиши мне, — говорит она вместо этого. — Как учила.

— Каждую неделю, — обещаю я легко. — Длинно и с завитушками.

— За жениха я спокойна, — говорит она, и это правда: о Тайвеле она всегда говорит ровно и тепло, как о хорошей погоде. — Мужчина основательный, при нём ты как за стеной. А вот край... — Она смотрит поверх моего плеча, туда, куда со двора не видно. — Край не разбирает, кто чей. Оттуда не все возвращаются, Айлин. Потому — не снимай.

Она обнимает меня — слишком крепко и слишком долго для проводов, вжимается щекой в мой висок, и я слышу, как она вдыхает, будто хочет надышаться. Потом отпускает, разглаживает мне платок последний раз — и лицо её уже снова простое, доброе, гостевое.

— Ну, — говорит она. — С богами.

###

Во дворе всё готово, и двор от этого притих.

Отец в седле, непроницаемый, оглядывает поезд — выю-

ки, людей, ворота — одним хозяйским проходом глаз, как оглядывал, я видела, жатву. «Время», — говорит он, ни к кому, и это у него значит: пора. Гвардейцы подбираются. Скрипит кожа, звякает железо, пахнет лошадьми, дёгтем и последними розами из сада.

Тайвел подводит мне мою кобылу сам и сам держит стремя. Когда я уже в седле, он поправляет на моём ворота серебряный лист — свой подарок, — и пальцы его на миг теплее серебра.

Мой платок он везёт с собой — я вижу краешек за отверстием, у сердца. Спрятал, а не носит напоказ, как носила бы я. Дарить ему легко, а носить чужое, быть у кого-то пусть в малом долгу — тяжело; оттого и прячет поглубже. Я замечаю это и глупо радуюсь: пусть везёт. Пусть у него будет при себе хоть одна моя вещь.

— Ну что, — говорит он мне одной, тихо, заговорщицки. — За чудовищами?

— За чудовищами, — отвечаю я, и мы улыбаемся, как два заговорщика и есть.

Трогаемся. Дом плывёт назад — сперва медленно, потом всё скорее, и я оборачиваюсь в седле, потому что так положено, и потому что мне хочется.

Все стоят, где стояли. Матушка — на крыльце, прямая, и не машет: просто стоит и смотрит, сложив руки, как на службе. Сёстры машут за двоих. Мейлин уже не на крыльце — она успела взлететь к себе и машет с балкона, высунувшись

до половины, и в поднятой руке у неё не платок — книжка, тот самый роман; страницы полощутся на ветру, как голубиные крылья. Пусть у младшей будут балконы, принцы и их кони.

Занавеска на втором этаже — та, что всю жизнь дёргалась, стоило мне сесть слишком близко к чему-нибудь живому, — висит неподвижно. Подглядывать больше не за чем: всё, за чем присматривали, уезжает со двора с приданным и охраной.

Последним я вижу сад. Садовник с утра пораньше уже там — ходит вдоль кустов и режет отцветшее под корень, охапка роз лежит у его ног. Осень подходит, срок есть срок.

К вечеру их сожгут, и к весне никто не вспомнит, что они тут были.

Я отворачиваюсь от окна первой.

Глава 5

Дорога начинается с того, что мне впервые в жизни никто не говорит «сядь прямо».

Я еду верхом весь день — не круг по аллее под присмотром, а по-настоящему, до гудящих ног, — и мир не кончается ни забором, ни живой изгородью. Первые сутки я просто смотрю. Смотрю так жадно, что к вечеру у меня болят глаза, как у других с непривычки болит поясница, и Тайвел смеётся, что меня укачало от смотрения.

Он едет рядом почти всё время. С ним легко: он рассказывает дорогу, как рассказывают книгу — вот за этим холмом колодец с самой сладкой водой на тракте, вот тут в позапрошлом году сошёл сель и три дня копали купеческий обоз, — и слушать его можно бесконечно. Отец едет чуть впереди, при мне неотлучно, как и положено, когда незамужнюю дочь везут при женихе. На привалах они с Тайвелом спорят о каком-то давнем походе — «да мы же тогда оба стояли под Гребнем», «оба, да ты с той стороны» — и переглядываются, как спорят люди одних лет об одной молодости. Муж в летах — за ним как за стеной, сказала бы Розалин. У меня будет две стены. Я самая охраняемая девица во всей Вельдарии.

На третий день я замечаю, что земля устала.

Не сразу подберу слово, а потом подбираю именно это: устала. Трава здесь серее, чем у нас, будто её уже носили.

Поля лежат через одно: вспаханное, брошенное, вспаханное, брошенное — как будто у земли не хватает дыхания на все сразу. Деревни реже, заборы выше, и на постоялом дворе, где мы ночуем, пустует половина стойл, а хозяйка на вопрос «как урожаи» отвечает «как у всех» таким голосом, что переспрашивать неловко.

— Почему тут так? — спрашиваю я у Тайвела.

— Земля скудеет, — говорит он просто, как говорят «дождь идёт». — Чем дальше к краю, тем скуднее. Всё уходит туда. — Он кивает вперёд, где за днями пути лежит то, ради чего мы едем. — Оттого туда и ходят. Где убыло, там, стало быть, где-то прибыло — надо только уметь взять.

Мне нравится, как он говорит: у него на всё есть ответ, и ответ всегда с дверцей — «надо только уметь». Я складываю услышанное к остальному, что насобираала за дорогу. Насобираала я уже порядочно: как меняется говор от заставы к заставе, как встречные обозники по-разному кланяются гербу на наших выюках — южнее в пояс, здесь в четверть, — и как один слуга Тайвела, подавая мне стремя, всякий раз смотрит куда-то мимо моего плеча. Робеет перед барышней, решаю я. Славный, застенчивый.

Вечером на постоялом дворе я спрашиваю у Тайвела то, о чём стеснялась спросить дома, чтобы не показаться незнающей: откуда Тишь вообще взялась.

Он рассказывает охотно и красиво — так, как рассказывают то, чем гордятся. Давным-давно на мир пришло Чудови-

ще: пожирало землю, глушило реки, и не было на него управы, пока не встали наши предки — вельдарские дома, все как один. Сразили его здесь, на нашей земле; оттого здесь и лежит рана той победы. Тяжкое наследство — и почётное: где убили, там и кормимся.

— Выходит, Тишь — это... его? — я не сразу подбираю слово. — То, что от него осталось?

— То, что из него вытекло, — кивает Тайвел. — Оттого она и не пустая: в туше зверя, Айлин, годно всё, от шкуры до желчи. Просто зверь был очень большой.

Он говорит об этом, как о выгодной сделке тысячелетней давности, и мне нравится его спокойствие. Одно цепляет, как заусенец:

— А у южан я читала — Чудовище сразил их король.

— У южан, — усмехается Тайвел, — та же песня, только герой ихний. И у заморцев — ихний. Чудовище на всех одно, а победителей — дюжина. Победа, Айлин, как хорошая невеста: кавалеров много и каждый видит себя мужем.

Я смеюсь и складываю к остальному. Дюжина женихов на одну победу — такое я могу себе представить.

###

Третий Перевал слышно раньше, чем видно, а чуют его начинаешь ещё раньше.

Пахнет дымом, дёгтем, скотиной, мокрой шерстью и чем-

то ещё, густым и незнакомым, от чего лошади прядают ушами. Потом из-за холма выворачивается частокол — серый, щербатый, обвешанный по гребню чем-то, что я сперва принимаю за сохнувшие шкуры и лишь потом понимаю, что принимаю правильно. За частоколом — крыши, дымы, гвалт. Третий Перевал. Городок, которого нет ни на одной приличной карте, и первое место в моей жизни, где на наш герб не кланяется никто.

Внутри я забываю, как дышать, — столько всего сразу.

Грязь тут месит так буднично, будто она и задумана вместо мостовой. Люд — лихой, громкий, пёстрый: кожаные куртки в нашивках, у половины чего-нибудь не хватает — пальца, уха, ровно половины лица под платком, — и никто не подаёт виду, что это стоит взгляда. У коновязи двое бранятся из-за места такими словами, каких я не знаю вовсе; по тому, как каменеют лица наших гвардейцев, понимаю — оно и к лучшему. Здесь всё продаётся с рук и с голоса, всё вперемешку: связки когтей рядом с луком и репой, склянки тёмной жижи рядом с сапогами, и смерть, судя по разговорам, тут тоже товар из ходовых — о ней торгуются тем же голосом, что о репе.

Мы не задерживаемся — «проездом, засвидетельствовать», говорит отец, — но засвидетельствовать здесь положено одному человеку, и человек этот выкатывается нам навстречу сам.

Мэр. Так его зовут в глаза; за глаза, я слышу, зовут Пош-

ляком. За то, что он берёт пошлину. Со всего. При нас его люди снимают с въезжающих возов по монете с колеса; рыбный ряд платит ему «за ряд», кабак — «за шум», и даже нищий у ворот, судя по хозяйскому кивку между ними, сидит на откупленном месте. Круглый, цепкий, скорый на прибаутку, он успевает за минуту назвать отца «ваша милость», меня — «золотцем», прицениться взглядом к нашему поезду от первого выюка до последнего — и, не меняя голоса, перейти к делу. Дело у них с отцом короткое: отец, не сходя с седла, отсчитывает ему в ладонь — буднично, как конюху за овёс.

— За тишину, — говорит Пошляк, пряча ладонь, и кланяется весело. — Проезд, пригляд, и чтоб языки покороче. Тихого пути, ваша милость. Тишь тихих любит.

Я не всё понимаю в том, что он продал. Но вижу, как продал: колено под фартуком ходило ходуном, пока отец считал, и встало смирно, едва монета легла. Этот свой товар он отпускает не всякому — и отцу он зачем-то очень нужен. Складываю и это.

У ворот нас задерживает встречный ход: в Третий Перевал возвращается артель.

Их пропускают первыми — здесь, я уже поняла, возвращающийся всегда पहले въезжающего. Восемь человек, серых от пыли и чего-то ещё, что не пыль; двое тянут волокушу, укрытую рогожей, и из-под рогожи тянет густым, медным — лошади наши пятятся. У ворот их считает вслух при-

земистый мужик с бирками на шнурах: тычет пальцем в каждого и называет по имени, и каждый отзывается — сипло, устало, но отзывается. На восьмом счёте кончается.

— А Жердяй? — спрашивает мужик с бирками.

Старший артели — старшего видно сразу по тому, как остальные стоят к нему вполоборота, — молча снимает шапку. И все у ворот, кто слышал, снимают тоже: без слов, без вздоха, буднично, как разуваются у порога. Мужик с бирками снимает одну бирку и вешает на гвоздь у ворот. На том гвозде висит с десяток бирок. Вся стена у ворот забита гвоздями с выцветшими на солнце бирками.

Через минуту артель уже торгуется у весовой — живо, зло, задорно. Восемь. Про девятого больше не говорят.

На наш поезд — на герб, на гвардию, на меня в тонком дорожном сукне — из них не оглядывается ни один.

А у самых ворот, где частокол выше всего, играют дети.

Обыкновенные, чумадые, звонкие. Игра у них такая: стоят кругом и по очереди выкликают друг друга по именам — громко, нараспев, с притопом: «Жем-ка! Тут!», «Мал-ка! Тут!» — кто замешкался отозваться, выбывает и водит. Я смеюсь: у нас в такое не играют. Спрошу вечером у Тайвела, что за считалка.

Одна девочка, годов Мейлин, отрывается от круга и долго смотрит нам вслед — не на меня, на моё седло, на сбрую, на герб. Взгляд у неё взрослый и точный, как у оценщика. Я оглядываюсь на неё дважды. Она на меня — ни разу.

Форт Рейнмаров стоит в полудне от Третьего Перевала, и он оказывается меньше и старше, чем я его себе представляла.

Каменное кольцо, три башенки, двор, где всё по-хозяйски тесно: кузня, склады, навесы. Наш герб над воротами — единственное здесь, что моложе стен. Люди работают у стен и на стенах, всё увязано, всё расписано, и всё хочется рассмотреть разом. Кастелян — сухой, стремительный — сдаёт отцу двор, как сдают счёт: столько-то людей, столько-то припасу, столько-то до кромки.

Меня селят в башенке, в комнате с окном-бойницей, и я успеваю до сумерек обойти всё, куда пускают, и половину того, куда не очень.

У южной стены, под навесом, я нахожу зарубки.

Сперва думаю — хозяйственное: столбики коротких чёрточек, десятками, сотнями, от земли до плеча, старые затёрты, свежие белеют. Потом вижу над столбиками имена — выцарапанные, вкривь, где гвоздём, где ножом. Ульв. Косой. Дарен. Малый Дарен. И понимаю: чёрточка — это выход за стену, туда, вглубь. Один столбик — одна ходка, ходка за ходкой. У иных имён столбики длинные, в две ладони, и обрываются на полувысоте — дальше стена чистая, и в этой чистоте сказано больше, чем в любых чёрточках. А у одного

имени под последней зарубкой стоит крестик и приписано другой рукой: «дошёл».

Я веду пальцем по чужим ходкам и думаю, что это, должно быть, самая честная книга, какую я читала: в ней нельзя приврать, в ней только счёт. История дома, думаю я. Славная, суровая.

#

Вечером в большом зале форта топят камин, и выходит вечер, какого у меня ещё не было.

Нас мало: отец, Тайвел, кастелян, старший гвардии. Вино здесь пьют из глиняных кружек, жаркое подают горой и без церемоний, и разговор такой же — о завтрашнем, о кромке, о ценах на чешую. Отец... отца я такого не знаю. Он смеётся — дважды, по-настоящему; он подкладывает мне сам, через стол; он рассказывает, как в мои годы впервые вышел за стену и как его наставник — «вон, Ульв со стены, длинный столбик» — за ухо втащил его обратно. Тайвел сияет и смотрит на меня поверх кружки так, что мне приходится изучать жаркое.

Я сижу между отцом и женихом, мне тепло с двух сторон, и я думаю: вот. Вот так оно и будет всегда — этот стол, эти двое, это «завтра покажем тебе настоящее». Лучший вечер моей жизни, решаю я, — и тут же поправляюсь: лучший пока. Лучшие у меня все впереди.

Будят меня крики.

Не сразу понимаю, что не сон: колокол бьёт коротко, зло, во дворе мечется свет факелов, и по галерее топают так, что дрожит пол. Я выскакиваю как есть, в накинутом платье, — и меня никто не гонит спать, всем не до меня, и потому я вижу всё.

За частоколом, в пятне факельного света, стоит тварь.

Она была, кажется, кабаном — по тому, как посажена голова. Дальше что-то распорядилось ею по-своему: хребет вздыблен не щетиной, а чем-то белым и частым, как гребень, ноги длиннее кабанийх и ставятся вразнобой, будто каждая ходит сама. Она не рычит. Она стоит и смотрит на огонь, наклоня голову то так, то этак.

А потом мужчины на стене убивают её — буднично, в шесть рук, как рубят дрова: два арбалета, рогатина сверху, и уже кто-то кричит вниз про ворот и крюки, потому что тушу — я слышу — «жалко бросать, шкура почти целая». Ни молитвы, ни оторопи. У нас дома дольше суеются над курицей к обеду.

Я стою на галерее, вцепившись в перила, и не могу отвести глаз — но не от того, от чего следовало бы. Не от смерти. От повадки: как она ставила ноги, как несла голову — без страха, с одним только любопытством, которое я узнала

сразу, потому что оно моё.

И это узнавание стучит во мне вместе с сердцем до самого утра.

Первое моё чудовище. За частоколом, в полудне от кромки, за час до сна.

Я возвращаюсь в постель, когда двор затихает, и лежу, глядя в потолок бойницы, счастливая до звона. Там, за стеной, их целая куча.

Завтра мне их покажут.

###

Утром выясняется, что дальше мы пойдём пешком, и я прощаюсь с Лаской.

Она тычется мне в ладонь мягкими губами, выпрашивая хлеб, и знать не знает, что остаётся. Я чешу ей лоб под чёлкой и спрашиваю у Тайвела — почему? До кромки полдня, лошади свежие.

— Лошадь не держит имя, — говорит он. — За стеной она за час забудет, как её зовут. Потом — что она лошадь. Потом понесёт, и хорошо, если без всадника. Скотина в Тиши не живёт, Айлин: ей нечем за себя держаться. — Он треплет Ласку по шее, и та косит на него добрым глазом. — Потому туда и ходят на своих двоих. Оттого и говорят — ходка.

Я оглядываюсь на конюшню, где переступают и фыркают. Выходит, вся моя разница с Лаской в том, что я помню, как

меня зовут. Из всего моего приданого здесь в цене оказалось именно это.

Выходим после полудня, колонной. Впереди проводник — я вижу его впервые: серый, жилистый, из тех людей, мимо которых скользишь глазами на ярмарке. Здесь мимо него не скользит никто.

#

Дорога к кромке поднимается лесом, и лес по пути сереет — не сразу, а как седеют: сначала через дерево, потом через два, потом стоят одни серые.

Идём скоро, но без спешки, и Тайвел коротает мне дорогу наукой. Науки, оказывается, немного, и вся она уместается в четыре слова, которые он велит затвердить, как молитву: держи имя, не отвечай.

— Кому не отвечать?

— Никому, кто позовёт из-за спины, — говорит он без улыбки. — Здесь, у кромки, ещё тихо. Глубже морок пробует голоса. Услышишь, что зовут, — не отвечай и не оборачивайся: впереди идёт живой, сзади зовёт морок. Гляди в спину переднему и держи имя.

— Как это — держать имя?

— А вот как та игра у ворот Третьего Перевала. — Он улыбается уголками. — Понравилась вам? С притопом коротая.

— Считалка?

— Наука. Первая здешняя наука, ей тут учат раньше, чем ложке. Имя — единственное, что в Тиши по-настоящему твоё; всё прочее морок умеет досказать за тебя. Отпустишь — доскажет и имя. Потому мы и выкликаем друг друга, и потому вы всю дорогу будете повторять про себя: я — Айлин. Шаг — имя, шаг — имя. Скучно, зато живы.

— Взрослые, выходит, играют так же, — говорю я, — только без притопа.

Тайвел смеётся — по-настоящему, запрокинув голову, и говорит, что из меня выйдет толк.

Я пробую. Шаг — имя, шаг — имя. Ничего трудного: держать в голове одно слово после материных уроков — как после пялец вдевать нитку. К тому же слово мне нравится. Оно и молитва, и я сама — удобно, когда это одно и то же.

Отец, слышавший половину, роняет через плечо:

— Крепче держи. Порода у нас памятьливая, да Тишь и не таких перемалывала.

Это у него выходит почти нежно. Сегодня у него всё выходит почти нежно, и я иду между ними двумя, затверживая своё имя, счастливая, как на первом балу.

###

Кромку я узнаю раньше, чем мне её показывают.

Сначала холодеет — не по-осеннему, а как из погреба тя-

нет. Потом глохнет лес: птицы кончаются все разом, как обрезанные. А потом за последними серыми стволами открывается поле, и за полем — она.

Стена. Так это зовут, и слово врёт: стены нет. Есть черта, за которой воздух стоит со свилью, как плохое стекло, — и всё за ней чуть-чуть не то. Трава за чертой того же цвета, что и здесь, но глаз спотыкается, как на шве. Небо за чертой то же — и другое, будто его перерисовали очень старательно и самую малость мимо. От этого «мимо» у меня встают дыбом волоски на руках, и я не сразу понимаю, что это не страх. То есть страх, но пополам с тем, знакомым, что зажигается во мне на всё живое и новое, — а тут нового столько, что оно стоит стеной до неба.

У черты — столбы в человеческий рост, вкопанные редкой гребёнкой, на столбах — колокольцы и тряпье. У столбов нас строят.

Строят всех, в один порядок: гвардия, слуги, обозные с тюками — те самые «простые», кого всю дорогу кормили с господского котла, — и нас. Проводник выходит к самой черте, поворачивается спиной к Тиши, лицом к строю, и начинается перекличка.

Это совсем не похоже на игру с притопом, и похоже на неё до дрожи. Старший гвардии выкликает по старшинству, каждый отзывается полным именем — «тут!» — и голоса в холодном воздухе стоят плотно, как поленья в кладке. Выкликают всех. Отца — «тут». Тайвела — «тут». Меня:

— Айлин Рейнмар!

— Тут, — говорю я, и собственное имя, выкликнутое, как солдатское, отдаёт мне в грудь коротким гулким теплом. Первый раз в жизни моё имя звучит в строю, наравне, без «барышни». Мне это нелепо, стыдно нравится.

Выкликают и обозных — всех до последнего, по именам, которых я не знала: Стур, Малой Стур, Ерга... Припас берегут, думаю я, и как же это по-людски — что здесь, у самой страшной черты на свете, никого не забывают по имени.

Один из обозных — старый, с плечами, стёсанными лямкой, — отзывается «тут» спокойнее всех, а потом находит меня глазами. Один раз, недолго, — но я успеваю прочесть его взгляд, потому что читаю такие взгляды всю жизнь, и спотыкаюсь: это жалость. Ясная, тихая, без просьбы. Жалеют так не себя. Я оглядываюсь — за мной никого, только черта.

Не понимаю. Складываю. Дальше думать некогда: проводник поднимает руку.

— Идём цепью, — говорит он строю. Голос у него серый, как он сам, и слова он выдаёт, как медяки, по одному. — Гляди в спину. Не отвечать. Не отставать.

И первым делает шаг за черту.

###

Переход я почти пропускаю — жду грома, а получаю глоток.

Шаг — и воздух другой: гуще, глуше, отдаёт мокрым камнем и чем-то сладковатым, как палый лист. Звук вязнет: колонна идёт, а шагов меньше, чем ног. Краски все на месте и все чуть-чуть врут, как в сумерки, хотя до сумерек далеко. Я оборачиваюсь — черта позади, за ней наш мир, яркий и громкий, как ярмарка, и от этого взгляда назад проводник меня тихо и непочтительно дёргает за рукав: гляди в спину.

Гляжу в спину. Спина отцовская, широкая, я знаю её всю жизнь. Шаг — имя. Шаг — имя.

Идём долго. Каждые сто шагов по цепи пробегает тихая переключка — вполголоса, без притопа, — и я скоро выучиваю её, как выучивают музыку: кто отзывается скучая, кто наспех, кто со страхом. Строй читается не хуже гостиной, только честнее. Проводник впереди изредка роняет слово — «камень», «гнильё», «левее» — и слово, произнесённое вслух, будто прибывает вещь к месту: гнильё остаётся гнильём и не притворяется тропой.

На сыпучем спуске я оступаюсь — башмак едет по щебню, — и ближний обозный, Ерга, молча подставляет мне руку: не берёт под локоть, как взяли бы дома, а просто ставит её рядом, как ставят перила. Держусь два шага, пока не кончается сыпучее. Рука у него тёплая, твёрдая, в старых мозолях, как черенок лопаты.

— Спасибо, Ерга, — говорю я.

Он вздрагивает — от имени, что ли? — бормочет «не по чину, барышня» и уходит вперёд, к своим тюкам, торопливо,

будто я его ошпарила. Я гляжу ему в спину и не понимаю. Складываю.

Морок пробует меня один раз, по мелочи. Я развлекаюсь тем, что перебираю в голове оставленное: форт, Ласку... — и кличка не идёт. Вот только что была — тёплая, короткая, — и нет её, как монету в прорезь уронила. Я смеюсь себе под нос: укачало от смотрения. Смеюсь — а имя своё, между делом, сжимаю покрепче, как сжимают кошелёк в толпе. Шаг — имя. Шаг — имя.

К вечеру проводник выводит нас на пятно.

###

Пятно — это поляна, на которой мир вспоминает себя.

Я чувствую границу подошвами раньше, чем глазами: внутри воздух легче, звук возвращается, краски встают по местам, и у меня, оказывается, всю дорогу были поджаты плечи — только тут они опускаются. Поляна невелика, и лагерь на ней ставят тесно, по науке, которую я разбираю на глазах: наши шатры — в самой середине, гвардия — кольцом, солдаты и обозные — вповалку дальше, к краю. Чем проще человек, тем ближе его сон к Тиши. Здесь это никого не удивляет, и я стараюсь, чтобы не удивляло и меня.

Пока ставят столы, старший гвардии отходит к дальнему краю пятна, туда, где поляна глядит в темень, и до полной темноты держит над прогалом заслон: стоит и говорит впол-

голоса скучные строевые слова, как запирают на ночь ворота, — и воздух над прогалом густеет, если знать, куда смотреть. Сумерки, объясняет мне Тайвел, здесь самое ходкое время: что днём обходит пятно стороной, в сумерках пробует его на зуб.

На ужин, в тридцати шагах от морока, накрывают на стол.

Я не шучу: складной стол, скатерть, серебро, отцовское вино в дорожных бутылках. Слуга Тайвела разливает так же ровно, как разливал бы дома. Мне делается смешно, и Тайвел ловит мой смех налету.

— Думаете, блажь, — говорит он, довольный. — А это, Айлин, самая серьёзная вещь в лагере. Порядок держит имена не хуже переклички. Всё, что помнит себя, помогает и тебе помнить себя. Мы ужинаем с вилками, потому что вилка помнит, что она вилка, она была вилок дольше, чем живем мы.

Я смотрю на вилку. Вилка лежит у тарелки, серебряная, гнутая по родовому образцу, и всем видом помнит, что она вилка. Я думаю, что это самое красивое, что я слышала о столовых приборах, и что матушкины уроки этикета, выходит, тоже были наукой выживания — просто мне забыли сказать, от чего мы выживаем.

Старший гвардии садится к котлу, когда темнеет совсем и заслон отпущен, — и ест за троих, молча, как работают. Никто над этим не шутит. Я откладываю в голову: у запертой на ночь поляны есть цена, и платят её из котла.

После ужина я замечаю часовых. Их четверо, и стоят они странно: двое смотрят наружу, в темноту за пятном, а двое — внутрь, на лагерь, на спящих. Я спрашиваю у Тайвела — зачем?

— Морок манит сонных, — говорит он просто, как всё здесь говорят. — Человек встаёт и идёт, куда позвали. Тихий, довольный. Потому на ночь спим в кругу и под приглядом. — И добавляет, поймав, должно быть, что-то в моём лице: — Вас это не коснётся. Спите спокойно: ваше дело — сны, наше — присмотр.

В шатре пахнет домом: лаванда из сундука, воск, шерсть. Снаружи потрескивает костёр, ходят часовые, дышит — я слышу, как дышит, мерно и огромно, — Тишь за краем пятна.

Я лежу, затверживая на сон грядущий: я — Айлин. Айлин, которую сегодня выкликали в строю, как солдата. Айлин, которая завтра увидит всё.

За пологом — целая страна, которой нет ни на одной приличной карте.

И мне не страшно. Мне празднично.

Глава 6

Тишь меряют не вёрстами.

Вёрсты здесь врут: примета, по которой шли утром, к вечеру уже не там, а через день — не она. Меряют пятнами. «До ночёвки два пятна», — говорит проводник, и это может значить полдня, а может — весь день с довеском, смотря как поползли земли. Проводник метит вехи — затёсы, тряпицы, связки колокольцев, — и метит их, зная, что завтра половина соврёт. Каждое утро он уходит вперёд, «слушать дорогу», и возвращается с новым счётом пятен, как купец с торга.

Я живу в этом походе, как жила бы в раю, если бы в раю так болели ноги.

Хотя мне нельзя ничего. Нести — нельзя, гвардеец с поклоном забирает даже мой дорожный мешочек с рисовальным углём. Дежурить — смешно и думать. Уронила ложку — трое кидаются поднимать, и я начинаю подозревать, что ложка тяжелее, чем кажется. Меня будят последней, кормят первой и обкладывают заботой, как ватой, — и в этой вате, признаюсь, мне самую малость тесно. Зато смотреть мне можно сколько угодно, и я смотрю за десятерых: как ставят и снимают лагерь, как проводник пробует воду в ключах пятна — сперва веткой, потом ладонью, потом губами, и только после этого её берут во фляги. Из ключей за пятном не берут вовсе, какие бы чистые они ни были.

— Тишь угощает один раз, — говорит мне на это старший гвардии, и по тому, как буднично он это говорит, ясно: сказка старая, оплаченная.

Я записываю её в голову, к остальным. Голова у меня уже как приданое: всё сложено, всё пересчитано. Что пригодится — не угадать.

Одного в моей голове-приданом пока нет — чудовищ. Жених сулил их так, будто вёз меня на ярмарку, — а покуда я вижу серый лес да спины гвардейцев. Но снаряжены мы не для прогулки. На возах под рогожей я разглядела не одну снесь: короткие прямые ножи, не для мяса к столу; мотки бечёвки с грузилами; соль мешками; глиняные корчаги с притёртыми крышками, пустые пока. И гвардия идёт, как артель на промысел: вполглаза на тропу, вполуха на лес, руки близко к железу. Мы тут не гуляем. Мы за чем-то пришли, и это что-то, я начинаю думать, водится — иначе к чему соль и ножи.

###

На второй день тропа выводит нас через съеденную деревню.

Проводник, не оборачиваясь, роняет «не сворачивать» — и мог бы не ронять: сворачивать некуда, деревня лежит по обе стороны тропы. Была деревня. Крыши сидят в земле по самые стрехи, будто домá тонули медленно и не барахтались;

печная труба торчит из дёрна отдельно, как пень; колодезный журавль стоит целый, с бадьёй, только клонится над ровной лужайкой — колодца под ним больше нет. На одном окне, вросшем в землю по раму, — занавеска. Ситцевая, в горох, выгоревшая. Она не колышется: ветра тут не бывает.

— Тишь ест землю, — говорит Тайвел у моего плеча тихо, как говорят в храме. — Не разом: то по дюйму в год, то деревню за ночь. Эти не ушли вовремя — думали, обойдётся. Народ всегда думает, что обойдётся.

— А... люди?

— Кто ушёл — ушёл. Кто остался — остался. — Он пожимает плечами, и в этом жесте вся здешняя арифметика. — Добро, видите, стоит нетронутое. Брать из съеденного — дурная примета: считается, Тишь такое помнит. Врут, наверное. Но проверять охотников мало.

Я иду и смотрю на занавеску, пока деревня не кончается. Дома у нас занавеска дёргалась, стоило мне засмотреться на что-нибудь живое. Эта не дёрнется уже никогда, и от её неподвижности мне хуже, чем от всех рассказов про чудовищ.

###

Первое чудовище нам попадается к исходу того же дня — буднично, как попадается дичь.

Проводник вскидывает руку, и колонна встаёт без звука. Впереди, боком к нам, у мёртвого ключа кормится... не знаю

кто. Было — козой или ланью: тонконогое, но выше, чем бывает коза, и не той стати. Вдоль хребта у него не шерсть, а частые роговые пластины, серые, как ноготь, и они шевелятся сами, будто дышат отдельно от зверя. Голову держит низко и пьёт — из того самого ключа, из которого нам пить нельзя.

— Смотрите, Айлин, — тихо говорит Тайвел, и в голосе у него не опаска, а азарт знатока. — Только тихо.

Мне можно смотреть. Я смотрю за десятерых.

Двое гвардейцев расходятся вбок, без слов, привычно; третий разматывает бечёвку с грузилом. Всё скоро и тихо, как делают то, что делали сто раз. Зверь вскидывается поздно — грузило уже захлестнуло передние ноги; он бьётся, роняя пластины, и пластины, отскакивая, входят в дёрн, как брошенные ножи. Старший гвардии приканчивает его коротко, охотничьим, в одно место под челюстью, — и всё стихает.

А дальше начинается не бойня, а ремесло. Зверя не свежуют, как свеживали бы оленя к столу, — его разбирают. Молодой гвардеец вспарывает ему брюхо коротким прямым ножом, тем самым, «не для мяса», и вынимает не потроха: бережно, двумя пальцами, что-то тёмное, с кулак, влажно блестящее, — и опускает в подставленную корчагу с солью. Крышку притирают тут же. За первым — второе, помельче, из-под самого горла. Пластины со спины срезают отдельно, стопкой, и они звякают, как черепица. А тушу — мясо, всё, что дома пошло бы в дело, — бросают. Здесь это не добыча.

Добыча — вот та горсть тёмного в соли.

— Что это? — спрашиваю я.

— То, за чем ходят, — говорит Тайвел, глядя на корчагу глазами купца, довольного товаром. — В таком звере дорого одно-два места, всё прочее — падаль. За то, что тут в горсти, в столице платят так, что поход окупается трижды. Тишь растит в своих тварях то, чего не вырастить нигде. Мы приходим и снимаем урожай.

Мелочь, замечу я потом, берут и вовсе походя: тварь с зайца или с кошку гвардеец сворачивает на ходу, не останавливая колонны, — вырезал, что нужно, бросил, вытер нож о голенище. С крупным возятся. Мелкое — между шагами.

Пока разбирают зверя, проводник отходит к мёртвому ключу и срывает у самой воды пучок серой жёсткой травы с чёрным корешком. Прячет в отдельный мешочек — не в общий.

— Тоже урожай, — говорит он, поймав мой взгляд. — У воды, где стоит сила, растёт, чего снаружи нет. Иная такая травинка рану закроет вернее лекаря.

Вот, значит, зачем гвардия при железе, зачем соль и корчаги. Я стою над брошенной тушей чудовища, которое мне обещали, и понимаю: чудовище здесь не диковина, а грядка. Кажется, я не должна была понять это так скоро. Но никто не сказал мне не смотреть.

В ящик. К вышивке, к анатомии: где в звере дорогое, как режут, как солят, как затирают крышку, как выглядит серая

травинка у мёртвой воды.

###

Не всякого зверя берут — в этом я убеждаюсь наутро.

На открытом склоне проводник опять вскидывает руку, но на этот раз никто не расходится с бечёвкой: пятятся, тихо-тихо. Далеко среди серых стволов стоит что-то большое. Я не сразу нахожу, где у него верх: бурый горб выше телеги, и по горбу — те же пластины, что у давешнего зверя, только не с нготь, а с ладонь, и старые, замшелые. Оно не смотрит на нас — объедает верхушки сухих сосен, неторопливо, как корова стог.

— А это? — шепчу я. — Такого не берут?

— Такого — нет. — И впервые за поход в голосе у Тайвела не азарт, а расчёт. — Дорогого в нём много, да взять его стоит дороже, чем оно даёт. Мы не жадные, Айлин. Жадные тут ходят вместе с ним. — Он трогает повод, уводя нас шире в обход. — Урожай снимают с того, что по руке. Остальное растёт себе дальше.

Я оглядываюсь на бурый горб, пока его не скрывают стволы, и складываю в ящик и это: что чудовища бывают по руке и не по руке, и что разница между промыслом и гибелью тут — в одном трезвом взгляде старшего.

На третий день пути мы подходим к первой границе.

Её видно раньше, чем чуешь: мох по ту сторону лощины другого зелёного цвета — глубже, глуше, — и дым от факела проводника, дойдя до середины лощины, ложится набок, будто упирается в стекло. Звук туда тоже не доходит: проводник бросает камень, и камень падает молча.

— Навь, — говорит проводник. — Узкая. Пройдём с угощением.

Колонна перестраивается без команды, привычно, и я вижу, что будет обряд: у всех делаются лица, как в храме. Из клетки на возу — я думала, там куры к столу, — достают петуха, рыжего, крупного, злого, с поплывшей в мороке лапой. Старший гвардии берёт его под мышку, выходит к самой границе, и там, на плоском камне, коротким ножом делает то, что делают с петухами, — только медленнее, ровнее и глядя не на птицу, а в лощину.

По ту сторону что-то отпускает. Я не умею сказать это иначе: воздух над лощиной выдыхает, дым встаёт прямо, и камень, брошенный проводником, стучит о камни, как положено камню.

— Свежая смерть насыщает навь, — говорит мне Тайвел вполголоса, пока колонна течёт через лощину, быстро и тихо. — Ненадолго — потому идём в окно, не мешкая. Так

платят все, кто ходит: зверь на проход. Запомнили?

— Запомнила, — говорю я честно.

— И заметьте — чисто, — добавляет он, кивнув на камень, который уже присыпают землёй. — Не из жалости. Грязная смерть тоже открывает проход, но грязная смерть плодит тварей. Половина того, что бродит по Тиши, выросло из чьего-нибудь дурного ножа. Или из дурной драки.

Я смотрю на присыпанный камень с новым чувством. Выходит, чудовищ здесь не только бьют. Их здесь и сеют.

Я запоминаю жадно, до последней мелочи: как выбирали камень, как держали птицу, куда смотрел режущий. Наука простая и страшная, и она ложится во мне рядом с вышивкой и анатомией — в тот ящик, где у меня лежит всё, что когда-нибудь спросится.

Лощину проходим за полсотни шагов — быстро, гуськом, в самое окно. Петух на камне, стало быть, за всех: зверь за проход, как учил Тайвел. На той стороне не идёт счёт по десяткам, и в счёте недостаёт троих. Тех обозных, что шли в самом хвосте.

— Не пропустило их окно, — роняет мне старший гвардии, не глядя, тем ровным голосом, каким докладывают о недостатке по описи. — Вернутся в форт.

Их мешки уже несут молодые гвардейцы — нести будут по очереди. Поклажа с нами. Люди — нет.

И петух вдруг делается мал. Один рыжий петух — за целую лощину нави, что не пропускала даже камень? Слишком

спокоен старший. Слишком буднично сняли поклажу с тех, кто «вернётся».

Но есть страницы, которые я умею не дочитывать. Эту — закрываю торопливо, пока не проступило слово, которого я не хочу. Петух за всех. Трое вернутся в форт. Так бывает.

Там же случается и первая кровь — будничная: молодой гвардеец оступается на сыпучем и срывает ладонь о камень до мяса. Отец подзывает его кивком, берёт руку, как берут поводья, и начинает бормотать — ровно, скучно, по-писаному, глядя не на рану, а словно бы сквозь неё. Бормочет долго, на два десятка вдохов, под конец накрывает чужую ладонь своей, держит и отпускает.

— До вечера не мочить.

Гвардеец кланяется и уходит в строй, на ходу сжимая и разжимая пальцы. Я смотрю во все глаза — мне можно: наука о теле у девиц дозволенная, но только «для материнства». Слова у отца идут впереди рук, руки — впереди раны: длинная дорога к близкому дому. Материна наука дошла бы напрямик.

К полудню следующего дня тропа даёт крюк — большой, на полдня, — и проводник не объясняет, а Тайвел объясняет: обходим старое поле.

С гребня его видно: широкий распадок, рыжий от ржави. Ржавь эта — не земля: копыя, шеломы, косые рёбра повозок, всё вросло и стоит, как стояло. Между железом белеет.

— Здесь сошлись две рати, ещё до дедов, — говорит Тай-

вел. — Легли обе. Грязно легли, всем полем разом, — а грязная смерть, вы помните, не только открывает.

— Сеет, — говорю я.

— Сеет. Такое поле всходит по сей день: что ни год, из распадка что-нибудь да выползает. Оттого и крюк. — Он щурится на ржавь спокойно, оцениваяюще. — И заметьте, Айлин: после битвы победитель первым делом дорезает раненых. Не из милости и не из злобы — из арифметики: чисто закрытый враг — просто мёртвый враг. Оставишь грязного — через год он встанет, и уже не человеком. Добить здесь считают за милосердие.

Я смотрю на белое между ржавью и думаю, что дома нас учили: добивать — грех. Здесь, выходит, грех — не добить. У всякого дома свои порядки, сказала бы Ормунда.

Крюк мы идём молча, и поле ещё долго стоит у меня в правом глазу, как соринка.

###

А через два пятна, вечером, счёт не сходится.

Я узнаю об этом не из слов — слов при мне никаких и не было. Я узнаю по тому, как лагерь ставят на четверть тише обычного; как кашевар наливает и двигает миски без своих всегдашних прибауток; как старший гвардии докладывает отцу что-то короткое, и отец кивает — ровно, по-хозяйски, как кивал кастеляну на счёт припасов. Обозных у вечерне-

го костра сидит меньше, чем сидело утром. Я пересчитываю дважды, невзначай, из-под ресниц, как учили считать гостей.

— Трое отстали на переходе, — говорит Тайвел, перехватив, должно быть, моё арифметическое лицо. Голос у него ровный и тёплый, как всегда. — Так бывает, Айлин. Тишь прибрала. Здесь об этом не говорят громко — примета дурная.

Тишь прибрала. Я киваю и смотрю на огонь.

Опять трое. У лощины тоже было трое.

Только вот старший гвардии, докладывая, стоял слишком спокойно — так, отчитанным спокойствием, стоят люди, у которых всё прошло по-задуманному. И кашевар молчит не как напуганный — как насупленный. И тот старый обозный, что тогда, у стены, посмотрел на меня с жалостью, сегодня на меня не смотрит вовсе — сидит и глядит в миску, и спина у него такая, что читать её мне вдруг не хочется.

Я умею читать с любого места. И некоторые страницы умею не дочитывать.

Эту — закрываю. Вечер добрый, огонь тёплый, отец рядом. Трое отстали. Тишь прибрала. Так бывает.

Той ночью я впервые за поход долго не сплю.

Лежу и слушаю, как ходят часовые, как потрескивает костёр, как дышит за краем пятна огромное пятно морока, — и внутри у меня, на самом донце, куда я не заглядываю, стоит холодная лужица. Не страх — страху я бы удивилась и рассмотрела его с интересом, как всё новое. Хуже: мне первый

раз за дорогу хочется домой. К матушке, к Мейлин, к скучным пальцам, к занавеске, которая дёргается. Хочется так, что щиплет в носу.

Я лежу тихо-тихо и жду, пока пройдёт. Невесте, которую везут смотреть чудеса, не пристало хлюпать в шатре, как маленькой. Утром я выйду первой, умытая и весёлая, и спрошу у проводника, сколько пятен до перехода, — и никто не узнает про лужицу.

Не узнают. Я умею.

Утром я выхожу первой.

#

Вечера у костра — моя награда за дневные вёрсты, и с каждым днём награда всё щедрее.

Отец разговорился. Со мной, о деле, всерьёз — так, как не говорил за все мои семнадцать лет, вместе взятые. Я копию его слова, как копила бы жемчуг: их вдруг стало много, и я не знаю, куда девать. Они с Тайвелом рассказывают наперебой — про руины, что богаче любого поместья, только бери; про пруды, где вода стоит густая от силы, и травы вокруг них лечат то, от чего снаружи хоронят; про то, как меряют глубину не шагами — платой.

Про переписанных мне рассказывает Тайвел, и у этой сказки я забываю дышать.

— Тишь иногда не убивает, — говорит он, глядя в огонь.

— Иногда она берёт человека и переписывает. Возвращается другой: сильнее, крепче, с такими магическими каналами, каких не выточит ни одна школа. Про одного такого до сих пор ходит байка — сильнейший маг из ныне живущих, если жив. Тишь берёт своё, но тому, кого перепишет, платит по-царски.

— А как она выбирает? — спрашиваю я. — Кого переписать?

Отец и Тайвел переглядываются поверх огня — быстро, накоротке, как переглядываются люди, у которых один портной.

— Этого не знает никто, — говорит отец. — Знали бы — очередь стояла бы от самой столицы.

— Достойного, — говорит Тайвел одновременно с ним, легко, как шутят. — Сердце Тиши однажды возьмёт достойный, Айлин. Так здесь говорят.

Я смеюсь и говорю, что в этой очереди я бы уступила место без боя: меня и так неплохо переписала матушкина школа манер. Мужчины смеются. Огонь трещит. Мне семнадцать, я сижу в сердце самой страшного места страны между двумя людьми, которые меня любят, и слушаю рассказы, которых не слышала ни одна девица Вельдарии.

Щедрее вечера не придумать. Разве что на завтра — когда Тайвел после ужина покажет магию.

Он делает это между делом, как показывают фокус ребёнку: гасит костёр коротким словом — тьма падает разом,

кто-то из молодых солдат ахает — и вторым словом поднимает огонь обратно, выше прежнего. Слово у него твёрдое, звонкое, с раскатом; гвардия смотрит с почтением, отец — с одобрением знатока.

— Громко, — говорю я восхищённо, и это чистая правда.

Про себя я додумываю вторую половину — тихую. Что пламя можно уложить и поднять, не потревожив ни воздуха, ни ушей, одним держанием; что слову в этом деле делать нечего, слово — для зрителей. Мысль нескромная, и я прикусываю её, как прикусываю всё лучшее. В моём ящике и без того тесно.

А подол мне он всё-таки сушит — заметив, что я жмусь от сырости: роняет ещё слово, короткое и тихое, совсем без раската, и от ткани идёт лёгкий пар, как от утреннего хлеба. Буднично, как подают шаль. Выходит, тихие слова у него тоже есть — просто им не хлопают.

Потом он правит клинок — длинный, охотничий, с желобом, — и рассказывает мне его историю: где кован, что брал, отчего зазубрина у пяты не сточена («на память»). Клинок красивый, как всё у Тайвела. Я люблюсь и держу пальцы при себе: острое — не для невестиных рук.

Чем глубже мы уходим, тем тяжелее даются слова. На четвёртый вечер заслон встаёт у старшего гвардии только с третьего раза: первые два ряда вязнут, как вязнут здесь шаги, и он начинает заново, злее и тише.

— Глубина, — роняет Тайвел, поймав мой взгляд. — Чем

ниже, тем хуже воздух держит слово.

Старший в тот вечер ест за четверых.

###

Голос приходит на пятый день, на длинном переходе, из-за левого плеча.

— Айли-и-ин, — зовёт Мейлин, капризно и звонко, как зовёт меня с балкона, когда ей скучно. — Айли-ин, ну обернись!

Я делаю ещё два шага, прежде чем понимаю — что не так с этим зовом всё, от начала до конца. Мейлин в тысяче вёрст. За левым плечом у меня — серый лес, которого не было утром.

Спина переднего гвардейца. Гляжу в спину. Не отвечаю. Шаг — имя. Шаг — имя. Голос тянет ещё раз, уже без слов, одной интонацией — той самой, домашней, от которой у меня всё детство сладко ныло в груди, — и отстаёт, как отстаёт торговка, поняв, что не купят.

На привале я докладываю об этом Тайвелу — ровно, повзрослому, как докладывают о сломанной подпруге. Он выслушивает, и что-то быстрое проходит по его лицу — я бы сказала «удивление», если бы Тайвел умел удивляться.

— Уже пробует, — говорит он. — Рано. Обычно голоса начинаются глубже... — И, спохватившись, тепло: — Вы хорошо держитесь, Айлин. Очень хорошо.

— Порода, — роняет отец с непонятной мне интонацией, не поднимая глаз от карты.

Я горда собой до неприличия. И только вечером, уже в шатре, затверживая своё имя на сон, я позволяю себе додумать одну мысль до конца: Тишь искала, чем меня взять. Перебрала, должно быть, всё, что во мне лежит, — и выбрала голос Мейлин.

Хорошо же она читает, эта Тишь. Почти как я.

Я улыбаюсь в темноту. Расскажу Мейлин, когда вернусь: тебя, кроха, знает сама Тишь, твоим голосом говорит страшно чудовищ, — то-то будет визгу на весь дом. Балконы её, с принцами да конями, так и быть, оставим ей тоже.

Шаг — имя. Шаг — имя. Сплю.

Глава 7

Утром отец объявляет, что дальше пойдём малым числом, и лагерь выдыхает так дружно, что это почти ветер.

Идут: отец, Тайвел, шестеро гвардейцев из тех, что при отце с моих пелёнок, двое обозных под лёгкими тюками — и я. Остальным — ждать на пятне, день, может меньше. «Покажем Айлин самое сердце промысла», — говорит отец, и старший гвардии кивает так, как кивают приказу, который не обсуждают, а исполняют.

Тайвел с утра сам перекладывает свою поклажу — впервые за дорогу не доверив слуге: проверяет ремни, перетягивает, и лицо у него при этом рабочее, как у отца над счетами. К сердцу промысла, видно, чужими руками не собираются, отмечаю я. Основательный человек. Мне повезло.

Не согласен один лишь проводник.

Он не спорит — он упирается, как упирается лошадь перед гнилым мостом: всем собой и молча. Стоит перед отцом, смотрит мимо него, в ту сторону, куда нам идти, и повторяет своё, серое, по медяку:

— Глубже — не ходите. Не сезон. Земли ползут.

— Дальше дорогу знает Тайвел, — говорит отец ровно.

И это правда: Тайвел ходил здесь, у него в руках его собственная тетрадь примет, он весел и спокоен, как человек, ведущий гостей в собственный сад. Проводник смотрит на

эту тетрадь один короткий раз — так смотрят на чужой инструмент, — потом на меня, и я жду, что он скажет ещё, но он только надвигает шапку и уходит к большому лагерю, к своим вехам.

Вслед нам, уже от костров, доносится стариновское ворчание — кто-то из седых гвардейцев бурчит, не мне и не отцу, а миру вообще: «Отродясь баб к стыку не водили, не место...» — и осекается, одёрнутый чином. Я улыбаюсь про себя: вот и в Тиши есть свои гусыни, только в сапогах да при усах.

Лагерь провожает нас, как провожают на полдня: без чувств, по-рабочему. Кашевар суёт обозным по свёртку на дорогу; слуга Тайвела кланяется и получает последние распоряжения — что держать к возвращению; кто-то из остающихся гвардейцев беззлобно завидует уходящим: «самое сердце увидите». Старый обозный — тот, с тёсаными плечами, — один не при деле: стоит у края пятна и смотрит, как мы строимся. Я ловлю его взгляд и киваю ему: до завтра, мол. Он не кивает в ответ. Снимает шапку — медленно, обеими руками, как снимают в храме, — и стоит так, простоволосый, пока мы не трогаемся.

Чудной, думаю я. Провожает, будто хоронит.

Думаю — и забываю прежде, чем додумываю: впереди целый стык.

Мы выходим налегке. Шатёр остаётся на пятне. Серебро остаётся. Слуга Тайвела остаётся. С каждым слоем поклажи, снятым с плеч, идти легче, и я иду всё легче, к самому инте-

ресному, любопытная до звона, — из всей поклажи при мне только уголь в кармашке да материн платок на волосах.

#

Земли к стыку меняются уступами, и каждый следующий круче прежнего: расстояние, на котором мир ещё держит слово, убавляется и убавляется.

Морок здесь гуще: краски не врут по мелочи — они договариваются между собой у меня за спиной, и стоит обернуться, как всё уже чуть-чуть иначе. Переключка в малой цепи идёт не по ста шагам, а по пятидесяти. А потом начинает умирать звук. Не глохнуть, как в вате, — умирать слоями: сначала кончается эхо, потом шагов снова делается меньше, чем ног — теперь много меньше, потом я перестаю слышать своё дыхание и слышу только сердце, ровно и близко, как чужие шаги за стеной.

Тайвел ведёт, сверяясь со своей тетрадью, и на развилке лощин останавливается дважды. Оба раза — у приметного камня, и оба раза не так, как останавливается заплутавший: он не ищет дорогу. Он ищет точку — так на моих глазах землемер искал межу, промеряя от камня шагами, туда и обратно, с лицом человека, у которого сходится.

На втором промере я поднимаю глаза от его шагов к его лицу — привычка, я читаю всех, кто при мне ходит, — и успеваю поймать в этом лице что-то, чему у меня нет слова.

Не тревогу. Не азарт. Что-то очень собранное и очень чужое, как чужой почерк в знакомом письме.

Я отвожу глаза первая.

Смотрю на лощину, на камень, на что угодно. Сердце стучит — здесь всё равно больше нечего слушать. Его я не читаю. Он мой будущий муж, это уже решено.

— Далеко ещё? — спрашиваю я вместо всего.

— Рядом, — говорит Тайвел, и голос у него тёплый, как всегда. — К полудню увидите такое, чего не видела ни одна девица Вельдарии.

###

Привал перед последним переходом — короткий, без огня, и на этом привале я наконец дочитываю материн платок.

Разбирала я его всю дорогу, помалу, на стоянках — не с азов: азы мать вложила мне в руки ещё дома, у ниши, перед самой дорогой, своим ровным голосом. Две схемы по кайме, зеркальные: одна гонит заразу вон, другая ведёт внутрь; «учат их только парой», «что лечит, то и калечит, разница — куда ведёшь». Это я знала. Но мать тогда сказала не всё — она сказала: «разберёшь как надо, сама увидишь, как всякая форма выворачивается наизнанку», — и вот это «сама увидишь» я и добирала в пути, узел за узлом, как дочитывают трудное письмо при плохой свече.

А сегодня, перед самым стыком, где так тихо, что слышно

собственные пальцы, я дохожу до последнего ряда — до угла, где узор мельчает и вовсе сходит в кайму, — и нахожу то, чего мать не называла. Не схему. Под всей наукой, в самой кайме, коротко, материнским стежком, который я узнаю из тысячи, — слово.

«Живи».

Не «учись». Не «помни». Не «делай, как учила».

Живи.

Меня обдаёт холодом — сквозь тёплый полдень, сквозь три слоя дорожного платья, до самой кожи. Это прощание. Мама зашила мне в дорожный платок прощание — так прощаются не до осени. Так прощаются, когда боятся не увидеть.

Я сижу с платком в руках дольше, чем надо, и собираю себя, как собирают рассыпанное рукоделие, — по нитке.

Отец, проходя мимо, останавливается. Молча снимает дорожный плащ и накидывает мне на плечи — я, оказывается, дрожу. Ладони его на миг задерживаются у меня на плечах: тяжёлые, тёплые, знакомые всю жизнь. Потом он уходит к гвардейцам, так ничего и не сказав.

Я сижу в отцовском плаще, и материн холод наконец отпускает. Глупая, милая, мнительная мама. Наслушалась вдовьих рассказов — Тишь, чудовища, «оттуда не все возвращаются». Боялась за меня — и зашила мне своё желание сбегать в кайму, чтобы он шёл со мной и берёг. Я вернусь, мама. Я вернусь, привезу тебе Тишь в рассказах, и ты сама по-

смеёшься над своим «живи».

Я повязываю платок обратно — ту же прежнего, узлом на затылке, как она учила.

— Готовы? — спрашивает Тайвел, поднимаясь.

— Готова, — говорю я и возвращаю отцу плащ: впереди подъём, идти будет жарко. Он принимает его не глядя — он уже смотрит туда, куда нам идти.

#

Перед последним переходом Тайвел пересчитывает нас — вполголоса, по именам, по кругу; обстоятельно, как он делает всё.

— Айвар Рейнмар.

— Тут, — отвечает отец.

Своё имя он называет сам и сам себе кивает. Потом идут гвардейцы, по старшинству; потом обозные — Стур, Ерга. И последней, замыкая круг, — я:

— Айлин Рейнмар.

— Тут, — говорю я в мёртвую тишину, и тишина съедает моё имя беззвучно, как воду песок.

Дальше идём молча. Здесь уже не говорят: слова кончились вместе со звуком, остались только сердце, шаг и имя. Шаг — имя. Шаг — имя. Лощина сужается, стены её из серого камня в потёках, и потёки блестят, хотя блеснуть нечему — света здесь мало и он ниоткуда.

А потом лощина раскрывается, и я вижу стык.

Я не знаю, с чем это сравнить, — у меня в жизни не было ничего, из чего сшить такое сравнение. Всю дорогу я училась обходить пятна: молочный морок, где врут краски, и чёрную навь, где умирает звук. Их носит тут по земле, как масляные разводы по воде, — и всегда порознь, одно мимо другого.

Земля под ними немного просела, будто на неё однажды налегли сверху и отпустили. И два пятна здесь не лежат порознь, как лежали всю дорогу, — они втекают одно в другое, мешаются: молочный морок сочится в навью черноту, чернота — в морок, и не понять, где кончается одно и начинается другое. Воздух то белеет свилью, густой, почти молочной, и в белизне что-то медленно ходит, не показываясь, то наливается чёрным, гладким и глухим, как вода ночью, и тянет от него холодом старой воды, — и всё это перетекает и мутнеет, ходит одно сквозь другое, гуще к середине. А в самой середине, где смешалось плотнее всего, обнажился камень — серый, плоский, в рост длинной, будто те же ладони выскоблили его из-под земли. Обыкновенный. От его обыкновенности у меня холодеют кончики пальцев: всё здесь чужое, нездешнее, а он — как порог у нашего крыльца, и оттого страшнее всего.

По центру, у самого камня, — тёмные подпалины: где свежее, где стёртое, и лежат они не кучей, а тянутся полосой, будто горело тут не раз и всякий раз чуть в стороне. Я замечаю их и заставляю себя не замечать.

Тихо так, что я слышу собственное сердце — одно на весь стык.

Сойти вниз с ходу нельзя — это я понимаю по гвардейцам: они встали у кромки и вниз не идут, ждут. Тайвел кладёт мне руку на плечо, легко, и разворачивает меня лицом к середине.

— Смотрите туда, Айлин. Сейчас откроется.

Я смотрю в середину, послушно, во все глаза. За спиной у меня коротко и деловито возьмётся — я слышу возню, слышу, как обозный Ерга говорит что-то торопливое, просительное, обрывается на полуслове, — и возня стихает. Стихает и голос. Что-то мягкое и тяжёлое опускается на камень позади меня. Муть передо мной вздрагивает и на миг расступается — на ладонь, на две, — и вниз можно сойти.

Я не оборачиваюсь. Я не хочу знать, что там за возня. Есть страницы, которые я умею не дочитывать, — я выучилась этому в дороге, у навых лошин, где недосчитывались людей, и здесь эта выучка вдруг приходится впору. Тайвел ведёт меня вниз, придерживая под локоть, бережно, по оплывшему склону; я схожу, глядя в середину, а не под ноги и не назад.

И внизу, в самой мути, где молоко и чернота ходят одно сквозь другое, за день пути от всего, что я знала, мне делается — вот теперь, вопреки всему, — по-настоящему, во весь рост, хорошо. Не «прилично-хорошо», не «как подобает счастливой невесте», а как в детстве, до всех правил: полно, звонко, до краёв. Весь мир сошёлся в одну точку, и я стою в

самой её середине, и меня привели сюда те, кто меня любит. Уголь оттягивает кармашек, и я решаю: это надо нарисовать, сегодня же, пока не расплескалось. Мейлин словам не поверит — Мейлин поверит рисунку.

А у камня уже работают. Обозный — теперь я вижу, что остался один, Стур, — ползает на коленях с плоской корчагой, той самой, что несли «в припасе». От корчаги несёт — тяжело, сладко, с железом; запах ложится на язык и не сходит. Стур грубо, широко размечает по серому кругу: от края к краю, на всю землю вокруг камня. А по его разметке, следом, идёт отец.

Отец чертит. Не углём — тёмным, густым, из корчаги; макает и ведёт мелко, точно, там, где Стур клал грубо; тёмное ложится на серое жирно, не впитываясь. И вот тут во мне просыпается — некстати, совсем некстати — моя выучка. Я и не знала, что отец так умеет; а руки у него уверенные, привычные, и Тайвел ходит по кругу поверх линий, наклоняется, поправляет — будто сверяет их с чем-то, что держит в голове.

Потому что они чертят форму.

Я вижу это сразу, как вижу чужое рукоделие через всю комнату: это не узор — это схема. Магическая, бессловесная — та самая наша грамматика, только чужая и громоздкая. И огромная. Такой в голове не удержишь: я знаю по себе, я держу самое большее заслон да иглу, а эту не удержал бы никто — оттого её и кладут на землю, чтобы держала земля, а

не голова; оттого её и ведут вдвоём, в четыре руки, сверяясь. Мужичьему делу тут не место — навью кровь по прописи кладёт не всякий маг. А мой отец умеет.

Я читаю её — не могу не читать. Вот узлы связывания, знакомые, как собственное имя: они держат что-то на месте, не пускают. Вот линии, что сходятся лучами от четырёх сторон к середине, к камню, — каналы; я вижу, что каналы, только не пойму, куда они ведут. А в самой середине, над камнем, — фигура, которой я не знаю вовсе: острая, лучистая, о четырёх ровных концах, не то звезда, не то разрыв, и глядит она не наружу, а в себя, в середину. К ней стянуто всё.

Я разбираю узел за узлом, азартно, как разбирала материн платок, и не схожу с места — потому что схема трудная и красивая, а трудное я люблю больше всего на свете. Половину я понимаю. Половину — нет: слишком сложно, слишком чужой рукой, и чем ближе к середине, к той звезде, тем непонятнее, во что оно сложится.

Мне бы спросить — во что. Мне бы, читая чужую смертную схему, спросить наконец — для кого.

— Встаньте к камню, Айлин, — говорит Тайвел тёплым голосом. — В середину. Смотрите туда, в самую муть. Сейчас будет самое интересное.

В середину. На камень. В середину той звезды, к которой стянуто всё.

Я делаю шаг — и на этом шаге, поздно, так поздно, что уже всё равно, половина схемы, которую я не понимала,

вдруг складывается сама. Каналы — лучами к середине. Узлы — держат, не пускают. Звезда — глядит в себя. А место в самой середине звезды пусто. Для одного. По росту.

По моему росту.

Я обращаюсь к ним — уже не поделиться, а спросить, крикнуть —

и вижу лица: будничные, рабочие, как у прислуги перед большой уборкой;

и вижу, что гвардейцы стоят кругом, лицом не к Тиши, а ко мне;

и вижу отца — он смотрит прямо на меня, и в лице у него не любовь и не жалость, а усталое терпение, с каким доводят до конца давно решённое;

и вижу Тайвела — и первый раз в жизни читаю его лицо, потому что он больше не прячет его от меня. А читать там нечего. Пусто и деловито, как чистый счёт. Пришёл человек за товаром. Всех при мне я читаю с одного движения — его одного не читала никогда: не смела, берегла нечитанным. И вот дочитываю в одну секунду, всю, до дна, и лучше бы не умела читать вовсе.

— Тайвел, — говорю я. — Тайвел, это шутка?

Слово ещё висит в воздухе — глупое, детское, — а тело уже знает то, чего не хочет знать голова. И тело делает шаг назад.

В этот самый шаг во мне и рвётся всё, чему меня учили. Рвётся послушание, рвётся осанка, рвётся «сядь прямо»,

«улыбнись», «потерпи», шёлковая нить семнадцати лет — рвётся разом, с треском, как рвётся перетянутое. Под ней, оказывается, всю жизнь сидело что-то простое и зубастое, и оно не желает красиво лечь на чужой камень. Оно хочет жить. И это не страх — это ярость.

Я не иду в середину. Я упираюсь — всем, что есть: пятками в осыпь, ногтями назад, в того, кто держит. Отец берёт меня сзади за плечи — крепко, по-хозяйски, как берут скотину, чтобы не дёрнулась, — руки его я знаю всю жизнь, а эти чужие; я выкручиваюсь из них, я рвусь прочь, вон, куда угодно, от камня и от звезды. Семнадцать лет меня учили не повышать голоса — я кричу так, что дерёт горло.

А потом тянусь к последнему, что у меня есть, — не к ногтям, к форме. К игле: она смирная, ей много воли не надо, ею бьют, когда больше нечем. Собираю её, как собирала над мёртвой курицей: в жало, в одну точку, отцу под челюсть, где тонко.

Она не собирается.

Здесь, у самого стыка, где всё перетекает и мутнеет, форма не встаёт — плывёт, расходится в пальцах ума, как расходится мокрый узел. Веретену и вовсе надо довериться и отпустить — а как отпустишь, когда тебя вжимают в камень. Я тянусь снова, злее, — и то немного, что удаётся свести, гаснет, не дойдя: отец, не отрываясь от дела, ставит заслон одним углом внимания, как отмахиваются от мухи. Он держит меня рукой и волей разом, и воля его толще моей во столько

раз, во сколько опытный маг сильнее девичьего рукоделия. Вот она, моя наука — последнее, тайное, чем я думала себя сберечь: здесь, против тех, кто знает её лучше, в месте, что ест такие формы, как ест звук, — она просто ничто.

Значит, зубами. Значит, ногтями.

— Держите её, — говорит Тайвел, и голос всё ещё тёплый, и он даже не повышает его. — Не бойтесь, Айлин. Больно почти не будет.

Держат. Отец наваливается, перехватывает крепче; подступает гвардеец, ловит мне руку, что раздирает отцу лицо. Я достаю зубами чьё-то запястье — оно хрустит у меня во рту солёным, и это запястье отца, и я не разжимаю. Гвардеец со щекой, распоротой до кости, отшатывается. Но их много, а я одна и в трёх слоях дорожного платья: меня гнут вниз, вниз, я вишу на их руках всей тяжестью — и всё равно заваливают. На камень. Спинай на серое, лицом в самую муть, что ходит тут же, вровень со мной. Отец вжимает мне плечи в камень, коленом — бедро. Я ещё быюсь, но уже снизу, придавленная, и звезда подо мной, и я в самой её середине. Небо надо мной — белое и чёрное, полосами, и швы между полосами шевелятся.

А Тайвел опускается рядом на одно колено — буднично, как садятся к работе, и мою возню берёт в расчёт не больше, чем берут возню пойманной за крыло птицы. Он не рубит меня в горячке; он примеряется. Заносит клинок — тот самый, длинный, с желобом и зазубриной у пяты, «на память».

Клинок входит, и мир ломается пополам. Слева, под рёбра, вдоль — не в сердце: вскрыть, а не прикончить, отворить кровь в середину звезды. Боли сперва нет — есть неправильность, огромная, во всё тело, как нота мимо; потом боль приходит вся разом. Я не перестаю рвать и с клинком в боку. Ногтями, зубами, коленями — всем, что осталось; я бьюсь на камне, в середине звезды, скользя в собственной крови и в том тёмном, чем чертили, и звезда подо мной пьёт и то, и другое.

А дальше Тайвел делает то, что страшнее всякой горячки: следит. Он вскрыл меня одним ударом, точным, поставленным, — и нож своё сделал; теперь его дело не бить, а считать: губами, ровно, глядя, как моя кровь идёт по серому в середину звезды, с лицом счётовода над сходящимся столбцом. Я для него не невеста, не предательство, не человек — я работа, и работа идёт как задумано. «Держите. Ниже», — роняет он, не мне; и бьют другие — гвардейцы, деловито добирая то, чего не добрал он. Второй клинок. Третий. Я считаю их материными стежками: раз — стежок, два — стежок, кайма кончается.

«Папа», — кричу я, и это последнее слово, которое я говорю, и оно не работает. Отец держит крепче. Отец — про меня — говорит: «Ноги. Ноги держи».

Меня режут двое, что меня привели. Жених, обещавший мне чудовищ, — и не солгавший ни словом: вот оно, чудовище, у него в кулаке, и лицо у чудовища его собственное,

я успела прочесть. И отец, что вёл меня к венцу от самых пелёнок. Оба над камнем, оба по локоть в моей крови, и оба будничны, как за ореховой дверью в нашем доме.

А потом во мне лопается последняя нить — та самая, натянутая, которую я всю жизнь держала, не зная, что держу, — и всё, что я есть, выходит наружу разом. Без слова. Без формы. Белым.

Белое идёт из меня во все стороны, кроме одной. Наружу — жаром, криком, горелым; я слышу, как кричат не мои голоса, как их относит, как они обрываются. А в одну сторону — вниз, в камень, в звезду подо мной — белое не жжёт: оно вжигается, впечатывается в меня там, где спина легла на серое, ровно в середину. Последнее, что я чувствую телом, — не клинок, а этот отпечаток: звезду, вошедшую мне в спину, как печать в воск.

Крик. Жар. Запах горелого. Тишина.

Я лежу щекой на тёплом камне — тёплом, потому что стыну я, а не он. Всё во мне делается далёким, чужим, уже не моим. И всё во мне болит — я вся одна сплошная боль, ровная, без края.

Надо мной работают. Не спешно — деловито, так прибирают, когда главное уже не вышло, а окно вот-вот закроется. Двое приглушённо ругаются: один голос родной, отцовский, другой — Тайвела; слов не разобрать, звук уходит, как уходит в песок вода, — но по тому, как они переговариваются, я слышу: пошло не так, чего-то не получили, и теперь считают,

чья вина. Наверное, и моя. Теперь всё равно.

Чья-то рука ложится мне на горло, потом к самым губам — ищет, осталось ли дыхание. Ищет долго. Отнимается.

Мне бы позвать. Звать некого и нечем: голоса во мне не осталось — весь вышел с белым.

Мама, думаю я — уже не словами, уже откуда-то издалека. Мейлин. Я же обещала рассказать. Не расскажу.

Отцово лицо наклоняется надо мной — последнее, что я вижу: ни любви, ни вины, одна усталость, с какой доводят начатое до конца. Потом руки его поднимают что-то лёгкое, мягкое — материн платок, соскользнувший в драке, — и опускают мне на лицо. Как накрывают мёртвых. И свет гаснет под тканью.

И вот тут боль отпускает. Вся, сразу, по всему телу — отходит, как отходит с отмели вода, и делается легко, и совсем не страшно. Мне бы ещё немного. Ещё чуть-чуть. Ещё —

Я хочу жить.

Тьма.